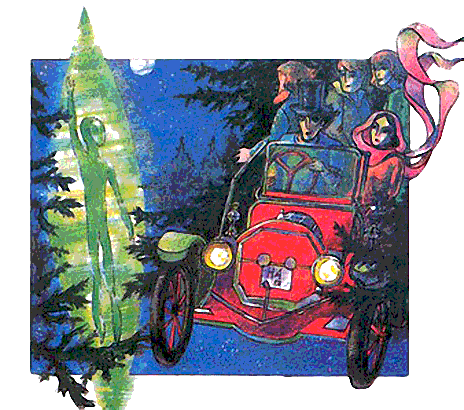
# Марсианское зелье

# Кир Булычев

## 1



Корнелий Удалов не решился один идти с жалобой в универмаг. Он спустился вниз, позвал на помощь соседа. Грубин, услыхав просьбу, долго хохотал, но не отказал и даже был польщен. Отодвинул микроскоп, закатал рисовое зернышко в мягкую бумагу, положил в ящик стола. Потом шагнул к трехсотлитровому самодельному аквариуму и взял наброшенный на него черный пиджак с блеском на локтях. Пиджаком Грубин спасал тропических рыбок от говорящего ворона. Ворон их пугал, болтал клювом в воде.

— Ты, Корнелий, не робей, — говорил Грубин, надевая пиджак поверх голубой застиранной майки. — В ракетостроении перекосов быть не должно.

Ворон забил крыльями, запросился на волю, но Грубин его с собой не взял, напротив — сунул в шкаф, запер.

Удалов подхватил большой прозрачный мешок, в котором покоилась оказавшаяся дефектной красная пластиковая ракета на желтой пусковой установке, купленная в подарок сыну Максимке, пониже надвинул соломенную шляпу и первым направился к двери.

Грубин, превосходивший Корнелия ростом на три головы, шагал размашисто, мотал нечесаной шевелюрой, посмеивался и громко рассуждал.

Удалов шел мелко, потел и боялся, что его увидят знакомые.

Жена Удалова, Ксения, крикнула им вслед со двора:

— Без замены не являйся!

— Ну-ну, — сказал Грубин негромко.

Они пошли по улице.

Двухэтажный, большей частью каменный, некогда купеческий, а теперь районный центр, город Великий Гусляр к концу июня раскалился от затяжной засухи. Редкие грузовики, «газики» и автобусы, проезжавшие по Пушкинской улице, тянули за собой длинные конусы желтой пыли и оттого напоминали приземлившихся парашютистов.

Был второй час дня и самая жара. На улицах показывались только те люди, которым это было крайне необходимо. Потому Корнелий и выбрал такое время, а не вечер. Он даже пожертвовал обеденным перерывом: надеялся, универмаг пуст и не стыдно будет поднимать разговор из-за пустяковой игрушки.

Миновали аптеку. Грубин поздоровался с сидевшим у открытого окна провизором Савичем.

— Не жарко? — спросил Савич, поглядев на Грубина поверх очков. Сам Савич был потный и дышал ртом.

— Идем на конфликт! — громко известил Грубин. — Вменяем иск против государства!

Удалов уже жалел, что позвал Грубина. Он дернул соседа за полу пиджака, чтобы тот не задерживался.

— И вы тоже, товарищ Удалов? — провизор обрадовался случаю отвлечься. — У вас опять неприятности?

Удалов буркнул невнятное и прибавил ходу. Головой повертел, чтобы поглубже ушла в шляпу, и даже стал прихрамывать: хотел быть неузнаваемым.

Грубин догнал его в два шага и сказал:

— Правильно он тебе намекнул. Я давно задумываюсь, как с помощью материализма объяснить, что половина всех невезений в городе падает на тебя?

— Архив покрасить пора, — уклончиво сказал Корнелий.

Грубин удивился и посмотрел на церковь Параскевы Пятницы, в которой размещался районный архив.

— Твое дело, — сказал Грубин. — Ты у нас начальник.

По другую сторону улицы стоял Спасо-Трофимовский монастырь, отданный после революции речному техникуму. Дюжие мальчики на велосипедах выезжали оттуда и катили на пляж. Монастырь в отличие от Параскевы Пятницы был хорошо покрашен, и купола главного собора сверкали, как стеклянные адские котлы, наполненные лавой.

— Мне твоя жена говорила, — продолжал Грубин, — что тебе в десятом классе на экзамене тринадцатый билет по истории достался и ты медаль не получил. Правда?

— Я бы ее и так не получил, — возразил Удалов.

А сам подумал: «Зря Ксения такие сплетни распространяет. Это дело старое, счеты с Кастельской, тогдашней историчкой. Если бы можно жизнь повторить сначала, выучил бы все про Радищева». Сколько лет прошло, не думал тогда, что станет директором ремстройконторы, а видел перед собой прямую дорогу вдаль.

— Я жизнью удовлетворен, — произнес Удалов твердо, и Грубин хохотнул, глядя сверху. То ли не поверил другу, то ли был сам не удовлетворен.

Универмаг находился в бывшем магазине купца Титова. Купец перед самой Первой мировой получил потомственное дворянство и герб с тремя кабанами: Смелость, Упорство, Благополучие. Теперь кабаны с герба осыпались, а рыцарская шляпа с перьями над щитом осталась. И купидоны по сторонам.

У входа в универмаг сидели в ряд обалдевшие от жары бабки из пригородного совхоза. Сидели с ночи — поддались слухам, что будут давать трикотажные кофточки по низким ценам.

Удалов отвернулся от бабок и боком постарался вспрыгнуть на три ступеньки. Он хотел сделать это легко, спортивно, но споткнулся о верхнюю ступеньку и упал животом на прозрачный пакет с пластиковой ракетой.

Грубин только ахнул.

Бабки очнулись и зашептались. Ракета жалобно скрипнула и распалась, как пустой гороховый стручок. Пусковая установка желтого цвета сплющилась в квадратную лепешку.

Корнелий, не смея обернуться, вскочил, взглянул дико на останки ракеты, закинул мешок за спину и, пригнувшись, вбежал в полутьму магазина.

— Ну, что я говорил? — спросил у бабок Грубин.

Те оробели от дикого вида и значительного роста Грубина и затихли.

— Задача осложняется, — объяснил им Грубин и поспешил за Корнелием в нутро магазина.

Удалов передвигался по магазину медленно, будто по колено в воде. Свободной рукой растирал ушибленный бок. Так дошел до прилавка с игрушками, остановился и подождал, прислушиваясь, пока не подошел Грубин.

— Плохо дело, — сказал Грубин. — Может, пойдем домой?

— Жена, — прошептал Корнелий.

Шурочка Родионова, продавщица игрушек, ждала обеденного перерыва и читала переводную книгу Зенона Косидовского «Библейские сказания». Шурочка собиралась быть археологом и три года занималась в историческом кружке у Елены Сергеевны Кастельской, которая была тогда директором музея. Школу Шурочка окончила хорошо, но в Вологду в институт поступать не поехала: с деньгами плохо. Пошла на год в продавщицы, хотя от планов не отказалась, читала книги и учила английский язык. К девятнадцати годам стала Шурочка так хороша, что многие мужчины, у которых не было детей, ходили в универмаг покупать игрушки.

Шурочка слышала шум у дверей, но не отвлеклась, читала комментарий про ошибки автора. Только когда Грубин с Удаловым подошли вплотную, она подняла голову, поправила золотую челку и сказала: «Пожалуйста».

А мысленно еще оставалась вблизи города Иерихона на Ближнем Востоке и переживала его трагедию.

Обоих посетителей она знала. Один, маленький, толстый, — Удалов, директор ремконторы. Второй — длинный, колючий, лохматый — заведовал пунктом вторсырья у рынка и принимал пустые бутылки.

— Здравствуйте, — сказали посетители.

Удалов поморщился и вытащил из-за спины большой прозрачный мешок с жалкими остатками пластиковой ракеты.

— Ой! — воскликнула Шурочка. — Что же у вас случилось?

— Замените! — произнес Удалов. — Брак!

— Как же так?

Шурочка положила книжку на прилавок и забыла об Иерихоне.

— Не видите, что ли? — все так же сердито спросил Удалов.

Шурочка не знала, что говорит он строго от робости и сознания своей неправоты. Она обиделась и отвечала:

— Я вам, гражданин, такого не продавала. Я сейчас заведующую позову... Ванда Казимировна!

Корнелий совсем оробел и сказал:

— Ну-ка, дайте мне жалобную книгу!

Он хотел отодвинуть шляпу на затылок, но не рассчитал, шляпа слетела и шмякнулась на пол. Удалов пошел за шляпой.

— Вы нас поймите правильно, — разъяснил Грубин. — Брак заключался в ракете раньше, чем случился инцидент.

Пришла заведующая, Ванда Казимировна, женщина масштабная, решительная и жена провизора Савича.

— Такое добро, — сказала она Грубину с намеком, — надо в утильсырье нести, а не в универмаг.

Бабки от входа пришли на разговор, и одна сказала:

— Чем торгуют! Постыдились бы.

Другая спросила:

— Кофточки сегодня будут давать?

— Спокойствие, — настаивал Грубин. — Я вам все покажу.

Он вынул из мешка две половинки ракеты, сложил их в стручок и показал заведующей:

— Трещину видите в хвостовой части? Вот с этой трещиной нам товар и продали.

Трещин в хвостовой части было несколько, и найти нужную было нелегко.

Шурочка совсем обиделась.

— Они издеваются, что ли? — спросила она.

— Алкоголики, — определила одна из бабок.

— Вот чек, — сказал, подходя, Корнелий. Шляпу он держал под мышкой. — Только вчера покупали. У меня чек сохранился. Пришел домой, вижу — трещина.

— Какая там трещина! — возмутилась заведующая. — Шурочка, не расстраивайся. Мы им на работу сообщим. Это не ракета, а результат землетрясения.

— Вы не обращайте внимания, что ракета расколота, — произнес Грубин. — Это потом уже случилось. А землетрясений у нас не бывает. Людям доверять надо.

И в этот момент в Великом Гусляре началось землетрясение.

Глухой шум возник на улице. Земля рванулась из-под ног. Дрогнули полки. Стопки тарелок, будто выпущенные неопытным жонглером, разлетелись по магазину, чашки и чайники, хлопая о прилавки, разбивались гранатами-«лимонками», целлулоидные куклы и плюшевые медведи поскакали вниз, цветастые платки и наволочки воспарили коврами-самолетами, стойки с костюмами и плащами зашатались — казалось, пожелали выйти на улицу вслед за бабками, убежавшими из универмага с криками и плачем. Разбившиеся пузырьки с духами и одеколоном окутали магазин неповторимым, фантастическим букетом запахов. С потолка хлопьями посыпалась известка...

Грубин одной рукой подхватил прозрачный мешок с остатками ракетной установки, другой поддержал через прилавок Шурочку Родионову. Он единственный не потерял присутствия духа. Крикнул:

— Сохранять спокойствие!

Корнелий вцепился в шляпу, будто она могла помочь в эти жуткие секунды. Быстрое его воображение породило образ разрушенного стихией Великого Гусляра, развалины вдоль засоренных кирпичами улиц, бушующие по городу пожары, стоны жертв и плач бездомных детей и стариков. И он, Корнелий, идет по улице, не зная, с чего начать, чувствуя беспомощность и понимая, что, как руководитель ремконторы, он основная надежда засыпанных и бездомных. Но нет техники, нет рабочих рук, царят отчаяние и паника.

И тут над головой рев реактивных самолетов — белыми лилиями распускаются в небе парашюты. Это другие города прислали помощь. Сборные дома, мосты и заводы спускаются медленно и занимают места, заранее запланированные в Центре, сыплется с неба дождем калорийный зеленый горошек, стукаются о землю, гнутся, но не разбиваются банки со сгущенным молоком и сардинами. Помощь пришла вовремя. Корнелий поднимает голову выше и слушает наступившую мирную тишину... И в самом деле наступила мирная тишина. Подземное возмущение окончилось так же неожиданно, как и началось. Тяжелое, катастрофическое безмолвие охватило универмаг и давило на уши, как рев реактивного самолета.

— Покинуть помещение! — оглушительно крикнул Грубин. Он бросил на пол мешок, взял одну из половинок ракетного стручка, вторую сунул Удалову и повлек всех за собой раскапывать дома и оказывать помощь населению.

Корнелий послушно бежал сзади, хоть ничего перед собой не видел — скатерть опустилась ему на голову и сделала его похожим на бедуина или английского разведчика Лоуренса.

К счастью, раскапывать никого не пришлось. Стихийное бедствие, поразившее Великий Гусляр, не было землетрясением.

Метрах в двадцати от входа в универмаг мостовая расступилась, и в провал ушел задними колесами тяжело груженный лесовоз. Еще не улегшаяся пыль висела вокруг машины и, подсвеченная солнцем, придавала картине загадочный, неземной характер.

— Провал, — сказал обыкновенным голосом Удалов, стаскивая с головы скатерть и аккуратно складывая ее.

Провалы в городе случались нередко, так как он был стар и богат подземными ходами и подвалами царских времен.

— Опять не повезло тебе, Корнелий! — Грубин бросил в досаде на землю половинку ракеты. — Теперь тебе не до замен. Мостовую ремонтировать придется.

— Квартал, кстати, кончается, — ответил Корнелий. Он обернулся к заведующей и добавил: — Я, Ванда Казимировна, вашим телефончиком воспользуюсь. Надо экскаватор вызвать.

Из пылевой завесы вышел бледный, мелко дрожащий от пережитого шофер лесовоза. Он узнал Удалова и обратился к нему с претензией.

— Товарищ директор, — заявил он, — до каких пор мы должны жизнью рисковать? А если бы я стекло вез? Или взрывчатку?

— Ну уж, взрывчатку! — передразнил Грубин. — Кто тебе ее доверит?

— Кому надо, тот и доверит, — обиделся шофер. Увидев Шурочку, перестал дрожать, подтянулся.

— Провал как провал, — сказал Удалов. — Не первый и не последний. Сейчас вытащим, дыру засыплем, все будет как в аптеке. Сходили бы до милиции, пусть поставят знак, что проезда нет. А автобус пустят по Красноармейской.

## 2

Елена Сергеевна прищурилась и отсыпала в кастрюлю ровно полстакана манки из синей квадратной банки с надписью «Сахар». Молоко вздыбилось, будто крупа жестоко обожгла его, но Елена Сергеевна успела взболтнуть кашу серебряной ложкой, которую держала наготове.

Ваня втащил на кухню танк, сделанный из тома «Современника» за 1865 год и спичечных коробков.

— Не нужна мне твоя каша, — сказал он.

— Подай соль, — велела Елена Сергеевна.

— Посолить забыла, баба? — спросил Ваня.

Елена Сергеевна не стала дожидаться, пока Ваня развернет танк в сторону черного буфета, сама широко шагнула туда, достала солонку и при виде ее вспомнила, что уже сыпала соль в молоко. Елена Сергеевна поставила солонку обратно.

— Баба, — заныл Ваня противным голосом, — не нужна мне твоя каша... Хочу гоголь-моголь...

На самом деле он не хотел ни того, ни другого. Он хотел устроить скандал.

Елена Сергеевна отлично поняла его и потому ничего не ответила. За месяц они с Ваней надоели друг другу, но дочь заберет его только через две недели.

Елена Сергеевна обнаружила, что к шестидесяти годам она охладела к детям. Она утеряла способность быть с ними снисходительной и терпимой. После скандалов с Ваней она успокаивалась медленней, чем внук.

А ведь Елена Сергеевна сама попросила дочь прислать Ваню в Великий Гусляр. Она устала от одиночества долгих сумерек, когда неверный синий свет вливается в комнату, в нем чернеют и разбухают старые шкафы, которые давно следовало бы освободить от старых журналов и разного барахла.

Раньше Елена Сергеевна думала, что на пенсии она не только отдохнет, но и сможет многое сделать из того, что откладывалось за делами и совещаниями. Написать, например, историю Гусляра, съездить к сестре в Ленинград, разобрать на досуге фонды музея и библиотеку, там все время сменялись бестолковые девчонки, которые через месяц выходили замуж или убегали на другую работу, где платили хотя бы на десятку больше, чем в бедном зарплатой городском музее.

Но ничего не вышло. История Великого Гусляра лежала на столе и почти не продвигалась. У сестры болели дети; и, вместо того чтобы не спеша обойти все ленинградские музеи и театры, Елене Сергеевне пришлось возиться по хозяйству.

В музее появился новый директор, ранее руководитель речного техникума. Директор рассматривал свое пребывание в музее как несправедливое наказание и ждал, пока утихнет гнев высокого районного начальства, чтобы вновь двинуться вверх по служебной лестнице. Директор был Елене Сергеевне враждебен. Ее заботы о кружках и фондах отвлекали от важного начинания: сооружения памятника землепроходцам, уходившим в отдаленные времена на освоение Сибири и Дальнего Востока. Землепроходцы часто уходили из Великого Гусляра — города купеческого, беспокойного, соперника Архангельска и Вологды.

— Баба, а в каше много будет комков? — спросил Ваня.

Елена Сергеевна покачала головой и чуть улыбнулась. Комки, конечно, будут. За шестьдесят с лишним лет она так и не научилась варить манную кашу. Если бы удалось начать жизнь сначала, Елена Сергеевна обязательно подсмотрела бы, как это делала покойная мама. Кто-то стукнул в окно.

Ваня забыл о танке и побежал открыть занавеску. Он никого не увидел — в окно стучали знакомые, прежде чем войти в калитку, обогнуть дом и постучать со двора.

Елена Сергеевна убавила огонь и решила, что успеет открыть дверь, прежде чем каша закипит. Она быстро прошла в темные сени. От каждого шага, сухого и короткого, взвизгивали половицы.

За дверью стояла Шурочка Родионова, повзрослевшая и похорошевшая за весну и остригшая косу, чтобы казаться старше.

— Вытри ноги, — сказала Елена Сергеевна, любуясь Шурочкой.

Шурочка покраснела; у нее была тонкая, персиковая кожа, Шурочка легко краснела и становилась похожей на кустодиевских барышень.

Шурочка поздоровалась, вытерла ноги, хоть на улице было сухо, и прошла на кухню за Еленой Сергеевной.

Девушка была взволнована и говорила быстро, без знаков препинания:

— Такое событие Елена Сергеевна грузовик ехал по Пушкинской и провалился народу видимо-невидимо думали землетрясение и Удалов из ремконторы говорит засыпать будем и там подвал а директора музея нет уехал в область на совещание по землепроходцам и надо остановить это безобразие там могут быть ценности.

— Погоди, — сказала Елена Сергеевна. — Я вот тут Ваню кормить собралась. Садись и повтори все медленнее и логичнее.

Когда Шурочка говорила, она из молодой и красивой женщины превращалась в ученицу-отличницу, в старосту исторического кружка.

Елена Сергеевна положила кашу в тарелку и посыпала ее сахарным песком.

Ваня хотел было потребовать малинового варенья, но забыл. Он был заинтригован неожиданным визитом и быстрой речью гостьи. Он послушно сел к столу, взял ложку и смотрел в рот Шурочке. Как во сне, зачерпнул ложкой кашу и замер, беззвучно шевеля губами, повторяя рассказ Шурочки слово за словом, чтобы стало понятнее.

— Значит, ехал грузовик по Пушкинской, — говорила Шурочка чуть медленнее, но все равно без знаков. — И сразу провалился задними колесами думали землетрясение все из магазина выскочили а там подвал...

— Где именно? — спросила Елена Сергеевна.

— Недалеко от угла Толстовской.

— Там когда-то проходил Адов переулок. — Елена Сергеевна прищурилась и представила себе карту города в промежутках между пятнадцатым и восемнадцатым веками.

— Правильно, — обрадовалась Шурочка. — Вы нам еще в кружке рассказывали там Адов переулок был и кузнецы работали ширина два метра и упирался в городскую стену я так и сказала Удалову из ремконторы а он говорит что квартал кончается и он обязан сдать Пушкинскую они ее три месяца асфальтировали а то премии не получат.

— Безобразие! — возмутилась Елена Сергеевна. — Ваня, не дуй в ложку... Мне не с кем его оставить.

— Так я посижу, Елена Сергеевна, — сказала Шурочка. — Без вас они засыплют, а вас даже Белосельский слушается.

— Я власти не имею, — напомнила Елена Сергеевна. — Я в отставке.

— Вас весь город знает.

— Я сейчас.

Елена Сергеевна прошла в маленькую комнату и скоро вернулась. Она причесалась, заколола седые волосы в пучок на затылке. На ней было темное учительское платье с отложным, очень белым воротничком, и Шурочка снова почувствовала робость, как пять лет назад, когда она в первый раз пришла в исторический кружок. Елена Сергеевна, в таком же темном платье, повела их наверх, в первый зал музея, где стоял прислоненный к стене потертый бивень мамонта, висела картина, изображающая повседневный быт людей каменного века, а на витрине под стеклом лежали в ряд черепки и наконечники стрел из неолита, найденные у реки Гусь дореволюционными гимназистами.

— Так ты посидишь немного? — спросила Елена Сергеевна.

— Конечно, я сегодня с обеда свободна.

Елена Сергеевна спустилась с крыльца, молодо процокала каблучками по деревянной дорожке двора, прикрыла калитку и пошла по Слободской к центру, через мост над Грязнухой, что испокон веку делит город на Гусляр и Слободу.

За мостом по правую руку стоит здание детской больницы. Раньше там был дом купцов Синицыных, и в нем сохранились чудесные изразцовые печи второй половины восемнадцатого века. По левую руку — церковь Бориса и Глеба, шестнадцатый век, уникальное строение, требует реставрации. За церковью — одним фасадом на улицу, другим на реку — мужская гимназия, ныне первая средняя школа. За гимназией — широкая и всегда ветреная площадь, наполовину занятая газонами. Здесь до революции стояли гостиные ряды, но в тридцатом, когда ломали церкви, сломали заодно и их, хотя можно было использовать ряды под колхозный рынок. Теперь здесь стоит, вглядываясь в даль, бронзовый землепроходец.

По ту сторону площади — двухэтажный музей, памятник городской архитектуры восемнадцатого века, охраняется государством.

Но Елена Сергеевна переходить площадь не стала, а у продовольственного свернула на Толстовскую.

На углу встретился провизор Савич, давнишний знакомый.

— Ты слышала, Лена, — сообщил он, отдуваясь и обмахиваясь растрепанной книжкой, — грузовик провалился?

— А куда, ты полагаешь, я иду? — спросила Елена Сергеевна. — Обследовать финифтяную артель?

— Ну уж, Леночка, — ответил мягко Савич, — не надо волноваться. Если мне не изменяет память, это третий провал за последние годы?

— Четвертый, Никита, — сказала Елена Сергеевна. — Четвертый. Я пойду, а то как бы они чего не натворили.

— Разумеется. Если б не такая жара, я бы сам посмотрел. Но обеденный перерыв короток, а мое брюхо требует пищи. Я так и полагал, что тебя встречу. Тебя все в городе касается.

— Касалось. Теперь я на пенсии. Передай привет Ванде Казимировне.

— Спасибо, мы все к вам в гости собираемся...

Но последних слов Елена Сергеевна уже не слышала. Она быстро шла к Пушкинской.

Савич поправил очки и побрел дальше, размышляя, есть ли в холодильнике бутылка пива. Он представил запотевшую темно-зеленую бутылку, шипение освобожденного напитка, зажмурился и заспешил.

На Пушкинской, не доходя до универмага, стояла толпа. Толпа казалась неподвижным, неживым телом, и только мальчишки кружились вокруг нее, влетая внутрь и снова выскакивая, как пчелы из роя. По улице не спеша шел гусеничный экскаватор. Вблизи толпа распалась на отдельных людей, большей частью знакомых — учеников, друзей, соседей и просто горожан, о которых ничего не знаешь, но здороваешься на улице.

Елена Сергеевна пронзила толпу и оказалась у провала. Асфальт расходился трещинами, прогибался, будто был мягким, как резиновый коврик, и обрывался овальным черным колодцем. По другую сторону колодца стоял лесовоз — его уже вытащили из ямы. Бревна лежали на мостовой рядком.

У провала спорили два человека. Один из них был низок ростом, агрессивен, и лицо его было скрыто под соломенной шляпой. Второй — баскетбольного типа, с нечесаной шевелюрой, в черном пиджаке, надетом прямо на голубую майку, — отступал под натиском низенького, но сопротивления не прекращал.

— Для меня это скандал и безобразие, — уверял низкий.

Елена Сергеевна сразу поняла, что это и есть директор ремконторы.

— Мы окончили асфальтирование участка, рапортовали и ожидаем заслуженной премии — не лично я, а коллектив, — а ты что мне советуешь?

Низенький сделал шаг вперед, и длинный отступил, рискуя свалиться в пропасть.

— Корнелий, ты забыл о науке, о славе родного города, — протестовал он, балансируя над провалом.

— А люди премии лишатся?.. Эй, Эрик! — Это низенький увидел экскаватор. — Давай сюда, Эрик!

— Подождите, — произнесла Елена Сергеевна.

— А вы еще по какому праву? — спросил низенький, не поднимая головы. — Давай, Эрик!

— Вот что, Корнелий, — сказала тогда Елена Сергеевна, которая наконец узнала, кто же скрывается под соломенной шляпой. — Сними шляпу и подними голову.

Кто-то в толпе хихикнул. Экскаваторщик заглушил мотор и подошел поближе.

— Где тут яма, — спросил он, — которая представляет исторический интерес?

Директор ремконторы послушно снял шляпу и поднял вверх чистые голубые глаза неуспевающего ученика.

Он уже все понял и сдался.

— Здравствуйте, Елена Сергеевна, — сказал он. — Я вас сразу не узнал.

— Дело не в этом, Корнелий.

— Правильно, не в этом. Но вы войдите в мое положение.

— А если бы на Красной площади такое случилось? — спросила строго Елена Сергеевна. — Ты думаешь, Удалов, что правительство разрешило бы вызвать экскаватор и засыпать провал, не дав возможности ученым его обследовать?

— Так то Красная площадь...

— Так его! — пришел в восторг Грубин. — Я сейчас мигом все осмотрю.

— Кстати, если не исследовать, куда ведет провал, — добавила Елена Сергеевна, — то не исключено, что завтра произойдет катастрофа в десяти метрах отсюда, вон там, например.

Все испуганно посмотрели в направлении, указанном Еленой Сергеевной.

Грубин присел на корточки и постарался разглядеть, что таится в провале. Но ничего не увидел.

— Фонарь нужен, — сказал он.

— Фонарь есть. — Из толпы вышел мальчик с длинным электрическим фонарем. — Только меня с собой возьмите.

— Здесь мы не шутки шутить собрались. — Грубин отобрал фонарь у мальчика. — Я пойду, а, Елена Сергеевна?

— Подождите. Нужно, чтобы туда спустился представитель музея.

— Так там нет никого. А вы отсюда будете контролировать.

Рядом с Еленой Сергеевной возник человек с фотоаппаратом.

— Я готов, — сказал он. — Я работаю в районной газете, и моя фамилия Стендаль. Миша Стендаль. Я окончил истфак.

— Так будем стоять или будем засыпать? — спросил экскаваторщик. — Простой получается.

— Идите, — согласилась с Мишей Елена Сергеевна.

— Тогда и я пойду, — сказал вдруг экскаваторщик. — Мне нужно посмотреть, куда землю сыпать. Да и физическая сила может пригодиться.

И на это Елена Сергеевна согласилась.

Удалов хотел было возразить, но потом махнул рукой. Не везет, так никогда не везет.

— Здесь неглубоко, — оповестил Грубин, посветив фонариком вглубь.

Он лег на асфальт, свесил ноги в провал и съехал на животе в темноту. Ухнул и пропал.

— Давайте сюда! — прилетел через несколько секунд утробный подземный голос.

Толпа сдвинулась поближе к краям провала, и Елена Сергеевна сказала:

— Отойдите, товарищи. Сами упадете и других покалечите.

— Сказано же, — оживился Удалов, — осадите!

Экскаваторщик спрыгнул вниз и подхватил Мишу Стендаля.

— Ну, как там? — крикнул Удалов. Он опустился на колени, крепко упершись пухлыми ладошками в асфальт, и голос его прозвучал тихо, отраженный невидимыми стенами провала.

— Тут ход есть! — отозвался снизу чей-то голос.

— Там ход есть, — повторил кто-то в толпе.

— Ход...

И все замерли, замолчали. Даже мальчишки замолчали, охваченные близостью тайны. В людях зашевелились древние инстинкты кладоискателей, которые дремлют в каждом человеке и только в редких деятельных натурах неожиданно просыпаются и влекут к приключениям и дальним странствиям.

## 3

Сверху провал представлялся Милице Федоровне Бакшт чернильной кляксой. Она наблюдала за событиями из окна второго этажа. Пододвинула качалку к самому подоконнику и положила на подоконник розовую атласную подушечку, чтобы локтям было мягче. Подушечка уместилась между двумя большими цветочными горшками, украшенными бумажными фестончиками.

Очень старая сиамская кошка с разными глазами взмахнула хвостом и тяжело вспрыгнула на подоконник. Она тоже смотрела на улицу в щель между горшками.

В отличие от остальных Милица Федоровна хорошо помнила то время, когда улица не была мощеной и звалась Елизаветинской. Тогда напротив дома Бакштов, рядом с лабазом Титовых, стоял богатый дом отца Серафима с резными наличниками и дубовыми колоннами, покрашенными под мрамор. Дом отца Серафима сгорел в шестидесятом, за год до освобождения крестьян, и отец Серафим, не согласившись в душе с суровостью провидения, горько запил.

Отлично помнила Милица Федоровна и приезд губернатора. Тот был у Бакштов с визитом, ибо обучался со вторым супругом Милицы Федоровны в пажеском корпусе. Хозяйка велела в тот вечер не жалеть свечей, и его высокопревосходительство, презрев условности, весь вечер провел у ее ног, шевеля бакенбардами, а господин Бакшт был польщен и вскоре стал предводителем уездного дворянского собрания.

Память играла в последние годы странные шутки с Милицей Федоровной. Она отказывалась удерживать события последних лет и услужливо подсовывала образы давно усопших родственников и приятелей мужа и даже куда более давние сцены: петербургские, окутанные дымкой романтических увлечений.

В годы революции Милица Федоровна была уже очень стара, и за ней ходила компаньонка из монашек. С тех лет ей почему-то врезалось в память какое-то шествие.

Перед шествием молодые люди несли черный гроб с белой надписью «Керзон». Кто такой Керзон, Милица Федоровна так и не сподобилась узнать.

И еще помнился последний визит Любезного друга. Любезный друг сильно сдал, ходил с клюкой, и борода его поседела. Задерживаться в городе он не смог и вынужден был покинуть гостеприимный дом вдовы Бакшт, не исполнив своих планов.

Появление провала на Пушкинской отвлекло Милицу Федоровну от привычных мыслей. Она даже запамятовала, что ровно в три к ней должны были прийти пионеры. Им Милица Федоровна обещала рассказать о прошлом родного города. Задумала этот визит настойчивая соседка ее, Шурочка, девица интеллигентная, однако носящая короткие юбки. Милица Федоровна обещала показать пионерам альбом, в который ее знакомые еще до революции записывали мысли и стихотворения.

Шурочку Милица Федоровна разглядела среди людей, окруживших провал. На зрение госпожа Бакшт не жаловалась: грех жаловаться в таком возрасте.

Потом Милица Федоровна задремала, но сон был короток и непрочен. Нечто необъяснимое волновало ее. Нечто необъяснимое было связано с провалом. Ей привиделся Любезный друг, грозивший костлявым пальцем и повторявший: «Как на духу, Милица!»

Когда Милица Федоровна вновь открыла глаза, у провала уже командовала известная ей Елена Сергеевна Кастельская, худая дама, работавшая в музее и приходившая лет десять-пятнадцать назад к Бакшт в поисках старых документов. Но Милице Федоровне не понравились сухость и некоторая резкость в обращении музейной дамы, и той пришлось уйти ни с чем. При этом воспоминании Милица Федоровна позволила улыбке чуть тронуть уголки ее сухих, поджатых губ. Раньше губы были другими — и цветом, и полнотой. Но улыбка, та же улыбка, когда-то сводила с ума кавалергардов.

Тут Милицу Федоровну вновь сморила дремота. Она зевнула, смежила веки и отъехала на кресле в угол, в уютную полутьму у печки.

Сиамская кошка привычно прыгнула ей на колени. «В три часа придут... В три часа...» — сквозь дремоту думала Милица Федоровна, но так и не вспомнила, кто же придет в три часа, а вместо этого опять увидела Любезного друга, который был разгневан и суров. Взор его пронзал трепетную душу Милицы Федоровны и наэлектризовывал душный, застойный воздух в гостиной — единственной комнате, оставленной после революции госпоже Бакшт.

## 4

За те полчаса, что было открыто влиянию жаркого воздуха, подземелье почти не проветрилось. Вековая прохлада наполняла его, как старое вино. Миша Стендаль оперся на протянутую из тьмы квадратную ладонь экскаваторщика, прижал к груди фотоаппарат и сиганул туда, в неизвестность.

В провале стояла тишина. Тяжелое дыхание людей металось по нему и глохло у невидимых стен.

В голубом овальном окне над головой обрисовывался круглый предмет, превышающий размером человеческую голову. Из предмета донесся голос:

— Ну как там?

Голос принадлежал маленькому директору ремконторы, которого так ловко поставила на место старуха Кастельская из музея. Предмет был соломенной шляпой, скрывавшей лицо Удалова.

— Тут ход есть, — ответил другой голос, в стороне, неподалеку от Миши.

По темноте елозил луч фонарика. Грубин начал исследования.

— Там ход... ход... — шелестом донеслись голоса в толпе наверху. Голоса были далеки и невнятны.

Миша Стендаль сделал шаг в сторону хода, но наткнулся на спину экскаваторщика. Спина была жесткая.

Глаза начали привыкать к темноте. В той стороне, куда двигался Грубин, она была гуще.

— Пошли, — сказал экскаваторщик.

Миша по-слепому протянул вперед руку, и через два шага пальцы уперлись во что-то — испугались, отдернулись, сжались в кулак.

— Тут стена, скользкая, — прошептал Миша. Шепот был приемлемее в темноте.

Толстые, надежные бревна поднимались вверх, под самый асфальт. Комната получалась длинная, потолок к углу провалился. Дальняя стена, у которой стоял Грубин и шарил лучом, была кирпичной. Кирпичи осели, пошли трещинами. Посреди стены — низенькая, перетянутая, как старый сундук, железными ржавыми полосами дверь.

Грубин уже изучил дверь: замка не было, кольцо кованое, но за него тяни не тяни — не поддается.

— Дай-ка мне, — сказал экскаваторщик.

— Нет, — возразил Миша Стендаль. — На это мы не имеем права. У нас нет открытого листа. Надо хотя бы сфотографировать.

Миша Стендаль читал незадолго до этого книгу про то, как была открыта в Египте гробница Тутанхамона. Там тоже были дверь и исследователи перед ней. И момент, вошедший в историю.

— Мы не на раскопках, — возразил Грубин. — Там, может, тоже земля. И конец нашему путешествию.

— Чего уж! — сказал Эрик. — Директорша велела посмотреть, так мы посмотрим. Все равно Удалов своего добьется. Засыплет, и поминай как звали — у него план.

Экскаваторщик присмотрелся к двери.

— Ты фонарь держи покрепче. Не дрожи рукой. Сюда, левее...

Он стал похож на хирурга. Грубин ассистировал ему. Миша Стендаль — студент-практикант, человек без пользы делу.

— Она внутрь открывается, — сказал экскаваторщик. Нашел место, то самое, единственное, в которое надо было упереться плечом, и нажал.

Дверь заскрипела жутко, ушла в темноту, кирпичи зашуршали, оседая, и экскаваторщик — береженого бог бережет — прыгнул назад, чуть не сбив Мишу с ног. Фонарь погас — видно, Грубин отпустил кнопку, — в подвале возникла грозная тишина, и все были оглушены звоном в ушах.

— Что случилось? — спросил голос сверху. Голос был близок до странности. Вроде бы за эти минуты трое исследователей ушли далеко от людей, а тут, в трех метрах, Удалов задает вопросы голосом тревожным, но обычным.

— Полный порядок, — сказал экскаваторщик. Он бодрился и о прыжке своем уже позабыл. — Свети прямо, — приказал он.

Грубин послушался и посветил.

Экскаваторщик закрыл спиной большую часть двери — всматривался, а Миша Стендаль почувствовал обиду. Он был наиболее исторически образован и морально чувствовал себя вправе руководить поисками. Но экскаваторщик этого не чувствовал, и как-то случилось, что впереди был он. Миша даже сделал шаг, хотел оттеснить экскаваторщика и дать какое-нибудь пусть зряшное, но указание. Тут экскаваторщик обернулся и посмотрел на Мишу. Глаз его, в который попал луч фонаря, засветился желто и недобро.

Миша ощутил внутреннее стеснение и приостановил дыхание. Там, за дверью, могли таиться сундуки с золотом и жемчужными ожерельями, серебряные кубки, украшенные сценами княжеской охоты на бой-туров, булатные мечи-кладенцы и скелет неудачливого грабителя — глазницы черепа черные, пустые... А экскаваторщик сейчас выхватит острый, чуть зазубренный от частого употребления кинжал и вонзит под сердце Стендалю.

Экскаваторщик отнял у Грубина фонарь: так ему было удобнее.

— Тоже комната, товарищи, — сказал он.

Скорчившись вдвое, он перешагнул высокий порог и пропал во тьме.

Грубин с Мишей стояли и ждали.

Изнутри голос произнес:

— Давайте за мной. Не оступитесь.

Вторая комната оказалась меньше первой. Луч фонаря, не успев достаточно расшириться, уперся желтым блюдцем в противоположную стену, порезав по пути светлым лезвием странные предметы и, что совсем непонятно, осветив пыльные гнутые стекла — бутыли, колбы и крупные сосуды темного стекла. Луч метался и позволял глазам по частям обозреть комнату — кирпичную, сводчатую, длинный стол посреди, — а дальний конец комнаты обвален и видится мешаниной кирпичей и железа.

— Типография, — определил Грубин. Помолчал. Подумал. — Может, здесь печаталась «Искра». Или даже «Колокол».

— Печатного станка нету, — резонно заметил экскаваторщик.

— Отойдите, — сказал Миша. — Ничего не трогайте. У меня вспышка. Сделаем кадры.

Послушались. В руках у Миши была техника. Его спутники технику уважали.

Миша долго копался, готовил в темноте аппарат к действию. Эрик помогал, светил начавшим тускнеть фонариком. Потом вспыхнула лампа. Еще раз.

— Все? — спросил экскаваторщик.

— Все, — кивнул Стендаль.

— На свет вынуть придется, — сказал Эрик. Он вернул фонарь Грубину, подхватил бутыль покрупнее и понес к выходу.

— Какого времени подвал? — спросил Грубин.

— Трудно сказать, — ответил Миша. — Вернее всего, не очень старый.

— Жаль, — произнес Грубин. — Второе расстройство за день.

— А первое?..

— Первое, когда думал, что землетрясение началось. Так вы уверены, товарищ Стендаль?

— Посуда довольно современная. И книги...

Миша подошел к столу, распахнул книгу в кожаном переплете.

— Ну, скоро? — спросил Эрик. — Там уже заждались.

— Наверху посмотрим, — решил Грубин. Подхватил еще одну бутыль и колбу.

Миша шел сзади с книгами в руках.

Шляпа Удалова отпрянула от провала. Зажмурившись от дневного, неистового сияния, Эрик протянул ему бутыль. Миша стоял в трех шагах сзади. Столб света, спускавшийся в провал, показался ему вещественным и упругим. Экскаваторщик, озаренный светом, был подобен скульптуре человека, стремящегося к звездам. Бутыль надежно покоилась у него на ладонях.

Вместо шляпы в провал спустились сухие руки Елены Сергеевны. Она приняла бутыль. Миша поднял вверх тяжелые фолианты.

— Вот так-то, — проговорил некто в толпе осуждающе. — А он засыпать хотел.

Удалов сделал вид, что не слышит. Он взял у Стендаля книги и положил их на асфальт. Рядом уже стояла бутыль, обросшая плесенью. Сквозь разрывы плесени проглядывала черная жидкость. Другие сосуды тоже встали рядом.

Удалову было холодно. Он даже застегнул верхнюю пуговицу синей шелковой рубашки. Удалова мучила совесть. Когда он вызвал экскаватор для засыпки провала, он действовал в интересах родного города. Его буйное воображение уже подсказывало страшные картины, торопившие к принятию мер и будившие энергию. Одна картина представляла собой автобус с пассажирами, едущий по Пушкинской улице. Автобус ухнул в провал, и только задний мост торчит наружу. А рядом иностранный корреспондент щелкает неустанно своим аппаратом, и потом в обкоме или даже в ЦК смотрят на фото в иностранной газете и говорят: «Ну уж этот Удалов! Довел-таки до ручки городское хозяйство в своем древнем городе!» И качают головами.

Была другая причина — куда более трагичная. Малое дитя в школьном передничке бежит с прыгалками по мостовой. И вокруг летают бабочки и певчие птицы. И ребенок смеется. И даже Удалов, наблюдающий за этой картиной, смеется. И вдруг — черной пастью провал. И отдаленный крик ребенка. И только осиротевшие прыгалки на растерзанном трещинами асфальте. И мать, несчастная мать ребенка, которая кричит: «Ничего мне не надо! Дайте мне только Удалова! Дайте его мне, я разорву его на части!..»

Пока не приехал экскаватор, Удалов неустанно боролся со своим воображением и все оглядывался, не бежит ли ребенок с прыгалками, не видел ли иностранный корреспондент, которому здесь делать нечего.

Удалов верил, что в провале ничего не обнаружится. Сколько их было на его памяти, и ничего не обнаруживалось. Он и причуды Кастельской не принял всерьез. Просто не стал воевать с общественностью. Накладно. Все равно засыплем. Все провалы — и тот, у архиерейского дома, и тот, что был на строительстве бани, и тот, у мясокомбината, — все они вызывали оживление в районном музее, даже в области. Но Удалову и городским властям никакой радости — провал не запланируешь. В провале есть что-то постыдное для хозяйственного работника — стихия мелкого порядка, пакостная стихия.

Теперь у ямы стояли бутыли. И книги. И были они не только прошлым — будущим тоже. Будущим, в котором имя Удалова будут склонять работники культуры вплоть до Вологды и корить за узкоглядство. Он даже слово такое знал — «узкоглядство». Так что надо было спасать положение и руководить.

— Много там добра? — спросил Удалов, приподнимая шляпу и показывая щенячий лоб с залысинками.

— Целая лаборатория, — ответил из-под земли экскаваторщик, который уже забыл о своей первоначальной задаче — переметнулся.

— Стоит законсервировать находку, — отозвался Миша из-за спины экскаваторщика. — Пригласить специалистов из области.

— Ошибка, — трезво рассудил Удалов. — Специалисты у нас не хуже областных. У нас есть, товарищи, Кастельская!

Последнее слово он произнес громко, будто ждал аплодисментов. И удивительное дело — есть такая особенная интонация, которую знают люди, поднаторевшие в речах, и эта интонация заставляет присутствующих сложить ладони одна к другой и бессознательно шлепнуть ими.

При слове «Кастельская» в толпе раздались аплодисменты.

Удалов потаенно улыбнулся. Он овладел толпой. Положение спасено. Подвал будет засыпан.

Елена Сергеевна в любом другом случае на такой ход не поддалась бы. Отшутилась бы, съязвила — она это умела делать. Но тут, пока стояла и ждала, что найдут, пока смотрела на принесенные вещи, поняла — нет смысла начинать войну с Удаловым. Вещи были не бог весть какими древними.

— Сейчас мы, товарищи, под наблюдением Елены Сергеевны спасем культурные ценности и отправим их в музей. Правильно?

— Правильно, — сказали слушатели.

— Ну, где у нас культурная ценность номер один?

Корнелий посмотрел на большую бутыль и поймал себя на жгучем желании наподдать ногой по ценности номер один. Даже захотелось сказать народу, что все эти штуки — дореволюционная самогонная мастерская. Но Удалов сдержался.

Исследователи подземелья, прослушав речь Удалова, пошли снова в дальнюю комнату выносить остальные вещи. Удалов послал гонцов в универмаг за оберточной бумагой. Елена Сергеевна присела на корточки и подняла одну из книг. Осторожно, поддев ногтем, открыла ржавые застежки переплета и перевернула первый лист.

Зрители склонились над книгой и шевелили в два десятка губ, разбирая ее название.

## 5

Милица Федоровна проснулась. Ее томило предчувствие. В виске по-молодому тревожила-билась жилка. Что-то произошло за минуты сна. Каретные часы Павла Буре показывали три. Альбом в сафьяновом переплете лежал на столе, был приготовлен для чего-то. Сквозь стекло, с улицы, прилетали обрывки голосов. Надо было вернуться к окну. Тогда мысли проснутся, как проснулось тело, и все станет на места. Потревоженная кошка удивилась резвости движений хозяйки. Портреты знакомых, акварели и желтые фотографии взирали на Милицу Федоровну равнодушно или враждебно. Одни умерли давно, другие не простили госпоже Бакшт завидного долголетия.

Розовая подушечка ждала на подоконнике. Милица Федоровна уперла острый локоток и выглянула между горшками. На улице мало что изменилось. Толпа поредела. Перед Еленой Сергеевной Кастельской стояли на асфальте какие-то предметы и бутыли старинного вида. Сама же музейная дама на корточках, в непристойной возрасту позе, листала трепаную книгу.

Значит, подвал не пуст. В подвале оказались находки. Милица Федоровна заставила себя задуматься. В мозгу вздрогнули склеротические сосуды, живее побежала кровь, и по дому разнесся тихий треск — будто заводили бронзовым ключиком старые часы.

Куда вел ход из того подвала? Ведь не с улицы заходили в него?.. К отцу Серафиму? Нет, дом его, пока не сгорел, стоял в глубине, за кустами персидской сирени. Может, в дом, соседний с бакштовским, по той же стороне? И того быть не могло — там испокон веку был лабаз. Может, во флигель? Там были зеленые ставни с прорезями в виде сердец. И что-то еще связано с флигелем...

— Милица! — Мужской голос возник от двери, голос знакомый и вечно молодой. — Не пугайтесь. Вы узнаете меня?

— Я не пугаюсь, друг мой, — ответила Милица Федоровна, стараясь обернуться. Ответила степенно и тихо. — Я отвыкла пугаться. Подойдите к свету.

Старик подошел поближе к окну. Он тяжело опирался на суковатую палку из самшита. Борода седая, в желть, недавно подстрижена. Грубый запах одеколона «Шипр», запах дешевой парикмахерской, разнесся по комнате, чужой другим, обжившимся здесь запахам. Те, родные — нафталиновый, ванильный, шерстяной, камфарный, — толкали пришельца, гнали его, но шипровый нагло занял самую середину комнаты.

— Простите, Милица, — сказал старик. — Я сейчас из парикмахерской.

— Давно у нас, Любезный друг? — спросила Милица Федоровна. Она протянула старику тонкую, изящную, хоть и опухшую подагрически в суставах руку.

Старик оперся покрепче о палку, нагнулся и поцеловал пальцы.

— Сдал я, — сознался он, распрямляясь. — Сильно сдал.

— Садитесь, Любезный друг, — предложила Милица Федоровна. — Там стул есть.

— Спасибо. Я с черного хода пришел. Задами. Не хотел встречать людей.

— Надолго к нам?

— Не скажу, Милица. Сам не знаю. Если то дело, что ранее не совершил, удастся — может, задержусь. А то помирать придется.

— Не говорите о смерти, — запротестовала Милица. — Она может услышать. Мы слишком слабо связаны с жизнью. Нить тонка.

— Пустое, — проговорил Любезный друг. — Вами, Милица, движет любопытство. Это значит — вы еще живы.

— Там странное, — сказала Милица Федоровна. — Провалилась мостовая. Волнуются, бегают.

— Суета сует, — сказал старик. — Сколько я вас не видел? Лет пятьдесят.

— Вы опять за свое.

— Я и прям неделикатен. И жизнь меня ожесточила. Пятьдесят лет — большой срок.

Милице Федоровне не хотелось расспрашивать гостя о том, что произошло с ним за эти годы. Для нее они протекли однообразно. Одиноко. Иногда голодно. Последнее время — лучше. Соседи выхлопотали старухе пенсию. Нет, лучше не расспрашивать. Пусть будет встреча, хоть и долгожданная, без времени, вне его пут и шагов.

Старик осмотрелся. Портреты узнали его. Он их признал тоже. Кивнул вежливо. Те в ответ закивали, взмахнули бакенбардами, бородами, усами, многократно улыбнулись знаменитой улыбкой Милицы, пожали обнаженными плечами, качнули локонами и кудрями...

Милица смотрела на него, узнавала то, что уже скрылось под сетью морщин. Предчувствия и сны указывали верно — Любезный друг пришел.

— Откройте форточку, — попросила Милица, стесняясь своей немощи. — Мне душно. А встаю редко. Весьма редко.

Старик встал, подошел к окну. Был он высок. Взглянул, открывая форточку, на улицу, вниз, увидел дыру в асфальте и книги рядом. И бутыли с ретортами.

— О боже! — сказал он. Сказал, как человек, к которому смерть пришла за час до свадьбы.

Старик вцепился в раму, и узловатые пальцы заметно побелели. Ноги не держали его.

— Что с вами? — спросила Милица, не поняв причины смятения. — Вам плохо?

Старик не смотрел на нее.

— Ничего, — ответил он. — Это пройдет. Все пройдет.

— Кстати, — проговорила успокоенная Милица Федоровна, которой знакомы по себе были приступы слабости и удушья, — куда бы мог вести ход из этого подвала?

— Куда?

— Ну конечно. Я сначала подумала — не в дом ли отца Серафима? Вы помните отца Серафима? Он страшно пил, когда дом у него сгорел. Нет, думаю, не туда. Тот дом в глубине стоял. Еще колонны были покрашены под мрамор. И лабаз рядом. Зачем лабазу такой подвал?.. Может, в лабаз?

— Не в лабаз, — прохрипел старик. — Не в лабаз. Какой еще лабаз? Ход к вам шел во флигель. Господи, несчастье-то какое...

«Правильно, — резонно подумала Милица Федоровна. — Конечно, выход из подвала должен быть под флигелем». Но она такого не помнит. Совсем не помнит. Запамятовала. А может, и не знала о подвале.

А Любезный друг сердился. Глаза его увеличивались, росли и гневались. И он взлетел под потолок, и оттуда грозил сухим пальцем, и говорил беззвучно...

Это Милице Федоровне уже снилось. Она задремала. Старик не взлетал и не грозил пальцем. Он стоял, прислонившись лбом к стеклу, и тяжко стонал.

## 6

Елена Сергеевна задерживалась. Шурочка отвечала на Ванины вопросы, и было это подобно клубку — ниточка тянулась, вопрос за вопросом, и смысла в них не заключалось. За беготней Шурочка чуть не забыла — обещала с пионерами пойти на экскурсию к старухе Бакшт.

Кукушка нехотя выползла из деревянных ходиков и два раза скрипнула, не раскрывая клюва. На третий раз ее не хватило. Стрелки стояли на трех без пяти. А Елены Сергеевны все не было.

В магазине Шурочку отпустили после обеда. Там не хватятся. Но пионеры ждут.

— Пошли погуляем, Ванечка, — сказала Шура, подлизываясь. (Ванечка мог и не пожелать.) — Может, бабушку найдем.

Шурочка убедила Ваню надеть панаму. Ваня потащил за собой танк на спичечных коробках — согласился гулять на таких условиях.

На мосту через Грязнуху Шурочку с Ваней обогнали знакомые из речного техникума. Дюжие мальчики на велосипедах. Ехали с купания и потому были бодры. Увидев Шурочку, стали делать вид, что Ваня — ее сын, отчего очень развеселились. Шурочка обиделась на грубые шутки, Ваня испугался, захотел вниз к речке — посидеть на берегу. Он бил каблуками по булыжникам и упирался. Речникам надоело шутить на жаре, они нажали на педали. Один отстал, обернулся, сказал, что купил два билета в кино, на девять, и будет ждать. Шурочка почти не слушала. Она уговаривала Ваню.

— Ванечка, — говорила она, — пойдем к бабушке. Я тебе конфетку дам, «Золотой ключик».

— Нельзя мне конфеты... — канючил Ваня. — Я хочу ананас. У меня коренной зуб болит...

— А мы сейчас посмотрим твой зуб, — послышался добрый голос сзади. — И, может, даже вырвем его с корнем.

Провизор Савич поравнялся с ними. Он возвращался с обеда в аптеку.

— Я за Елену Сергеевну посидеть взялась, — сказала Шурочка. — А она не идет.

Савич посмотрел на внука Елены Сергеевны и пожалел, что нет с собой конфеты или другого предмета, которые обычно дарят детям. У него детей не было, а могли бы быть внуки.

— Я хочу золотую рыбку поймать, — сообщил Ваня, не испугавшись доктора.

— Золотая рыбка достается трудом, мальчик, — произнес Савич. Он не умел говорить с детьми.

— Я буду с трудом, — согласился Ваня.

Шурочка воспользовалась разговором и сдвинула Ваню с места. Савич шел рядом и старался по-свойски говорить с ребенком, но отвечал невпопад. Провизор в это время думал о жизни, которая не удалась.

От снесенных торговых рядов осталась башня с часами. Сначала ее использовали как каланчу, а потом пристроили четырехэтажный дом для исполкомовцев и прикрепили электрические часы, что висят на столбах в больших городах, — круглые и неточные. Часы показывали десять минут четвертого.

— Ой! — испугалась Шурочка. — Нас пионеры ждут. Мы побежали...

Ваня бежать согласился: Савич ему надоел. Шурочка с Ваней побежали к школе, и за ними по пустой горячей мостовой запрыгал танк, сделанный из тома «Современника» и спичечных коробков. Один из коробков вскоре оторвался и остался лежать на мостовой. Провизор поднял его. Повертел рассеянно в пальцах. На коробке было изображено дерево без листьев и написано: «Себялюбивый человек засыхает, словно одинокое бесплодное дерево. Тургенев».

Шурочка увлекла Ваню в переулок. У новой кирпичной школы стоял дуб. Дуб был очень стар. Завуч школы любил повторять древнее предание о том, как землепроходец Бархатов, перед тем как уйти открывать левые притоки Амура, посадил дуб в родном городе. Завуч сам это предание и выдумал. Новому директору музея оно нравилось. Он надеялся найти ему документальное подтверждение.

В тени дуба маялись шесть пионеров из исторического кружка. Летом кружок не занимался, но Шурочка разыскала его активных членов, оставшихся в городе, и уговорила пойти к старухе Бакшт.

Стояла жара, и пионеры беспокоились. Они любили историю, но им хотелось купаться.

Золотая челка Шурочки Родионовой прилипла ко лбу. Рядом семенил дошкольник.

Пионеры зашевелились и достали записные книжки.

— Пошли, ребята, — сказала Шурочка, — а то опоздаем.

Пионеры нехотя выползли на солнцепек.

Путь их лежал мимо провала, и потому начало экскурсии пришлось отложить еще на несколько минут. Пионеры влились в толпу у ямы, через минуту были уже в курсе всех событий, и Шурочка, даже если захотела бы увести их в дом к Бакшт, не смогла бы этого сделать.

Удалов под наблюдением Елены Сергеевны заворачивал в оберточную бумагу принесенные вещи. Эрик с Грубиным вынимали из подземелья последние предметы, Миша Стендаль принимал их, складывал на асфальт.

Пахло одеколоном «Шипр». Запах испускал высокий костлявый старик с желтоватой, недавно подстриженной бородой. Старик нервничал, ломал корявые пальцы.

Провизор Никита Савич, обогнавший Шурочку, увидел Ваню и вернул ему спичечный коробок.

— Баба, — сказал Ваня, — пошли домой.

— Ты что тут делаешь? — удивилась Елена Сергеевна. — Где Шурочка?

— Я здесь, — откликнулась Шурочка. — Я беспокоиться начала, куда вы пропали, но потом пошла с Ваней и вспомнила: у меня экскурсия и пионеры ждут, и мы пошли в школу и зашли к вам.

Ваня тем временем заинтересовался дыркой в земле, подошел поближе, нагнулся и свалился в провал. Толпа ахнула.

Но с Ваней ничего страшного не случилось. В этот момент кверху поднимался стул. Ваня встретился с ним на полпути, упал на него и через несколько секунд уже вернулся на поверхность.

Однако его падение послужило завязкой других событий.

К провалу бросились провизор Савич, старик, пахнувший одеколоном «Шипр», Миша Стендаль и Удалов, который понял, что его видение оказалось вещим. Четверо столкнулись над провалом и помешали друг другу подхватить ребенка. Удалов, самый несчастливый, натолкнулся на старика, потерял равновесие и кулем свалился вниз.

В замешательстве, вызванном возвращением Вани и исчезновением Удалова, старик с палкой неожиданно подхватил одну из бутылей, отбросил самшитовую палку и, взметывая колени, побежал по улице.

Елена Сергеевна прижимала к груди ничуть не испуганного Ваню. Она этого не видела.

Провизор Савич хотел было крикнуть: «Стой!», но счел неудобным. Только Миша Стендаль, быстро сообразивший, что к чему, бросился вслед. Старик нырнул за угол.

За углом был двор. Во дворе стояла бутыль. Старик прислонился к стенке. Он дышал редко, втягивая воздух, как чай — с хлюпаньем.

— Возьмите, — сказал он. — Я пошутил. Только не разбейте.

Стендаль все-таки сделал шаг к нему, не к бутылке. Бутыль сама не уйдет.

— Не трогайте меня, — произнес старик строго. — Возьмите бутыль и идите обратно.

В глазах старика вспыхнули яростные огни, и Стендаль не посмел ослушаться.

Он обнял бутыль, тяжелую и согревшуюся под солнцем. Повернулся и шагнул за угол. И встретил остальных преследователей. Он шел быстро, решительно, и никто не подумал, что преступник не задержан. Люди послушно последовали за бутылью. Так и вернулись к провалу.

Тем временем Грубин и экскаваторщик вытащили Удалова, у которого была повреждена рука. Первую помощь ему оказали в аптеке.

Добычу понесли в музей. Идти недалеко, и помощников достаточно: впереди шла Елена Сергеевна, вела за руку Ваню и несла одну из книг, потоньше прочих, порастрепанней. За ней Миша Стендаль с двумя бутылями. Темная жидкость полоскалась в них и раскачивала Мишу. Фотоаппарат бился между бутылями и стучал в грудь.

Потом шли пионеры с Шурочкой во главе. Каждому досталось по находке. Последним шел экскаваторщик Эрик и нес стул.

Музей был заперт по случаю выходного дня. Но сторожиха вышла с ключами — она хранила верность старому директору, хотя и дотошной, но образованной.

Елена Сергеевна прошла прямо в кабинет директора. Там все и сложили частично на пол, частично на кожаный диван для посетителей из области.

Когда все ушли, Елена Сергеевна уложила Ваню на диван, подвинув находки, а сама провела еще час, проглядывая книги и разбирая надписи на бумажках, приклеенных к бутылям костяным клеем. Потом две малых бутылки заперла в сейф, а с собой взяла потрепанную тетрадку.

Ваня все время хныкал, требовал мороженого. Елена Сергеевна была задумчива, вспоминала прочитанное, недоуменно покачивала головой.

...Удалову Савич наложил шины и спросил, дойдет ли он сам до больницы сделать рентген. Но Удалову стало совсем худо. Он лежал в комнате, где делают лекарства. Обе молоденькие помощницы Савича ему сочувствовали, и одна принесла воды, другая приготовила шприц — сделать обезболивающий укол. Но Удалова это внимание не трогало. Его мутило от аптекарского запаха, который ни девушки, ни провизор не замечали, привыкли. Грубин рассматривал химикалии, запоминая на будущее, что есть в наличии: может, когда-нибудь пригодится.

Савич позвонил по телефону, и приехала «Скорая помощь». Приехала с опозданием — пришлось объезжать по переулкам: провал мешал движению.

Удалов все порывался отдать распоряжения, но голос ему отказывал. Ему казалось, что он говорит, но окружающие слышали только невнятные стоны и послушно кивали, чтобы успокоить больного. Корнелию, отуманенному уколом и дурнотой, чудилось, как не засыпанный вовремя провал начинает осыпаться с краев и поглощать дома. Вот уполз внутрь универмаг, и через черный ход выскакивают продавщицы во главе с Вандой Казимировной. И пытаются спасти некоторые товары из ювелирного отдела. За универмагом — Корнелий увидел это явственно — уползает в глубь земли церковь Параскевы Пятницы (слава богу, что хоть покрасить не успел), архивные материалы, сметенные катаклизмом, вырываются из узких окон и взлетают белыми лебедями в гуслярское небо. А навстречу архиву в пропасть едет речной техникум. Толстостенные монастырские здания сопротивляются земному тяготению, гнутся на краю. Дюжие мальчики, взявшись за канаты, стараются помочь своим общежитиям и классным комнатам, но все без толку — как нитки, рвутся канаты, бегут врассыпную мальчики, и монастырь, вплоть до золотых куполов, проваливается в бездну...

Тут Корнелий Удалов потерял сознание. Грубин проводил носилки с Удаловым до «Скорой помощи», попрощался с провизором и его помощницами, велел врачам активнее бороться за жизнь и здоровье больного, потом пошел домой.

Первое дело было самым тяжелым — рассказать жене соседа о беде.

Грубин постучал к ней в дверь.

— Ну как? — спросила Ксения Удалова, не оборачиваясь. Она была занята у плиты, готовила обед. — Обменяли?

— Корнелий в больницу попал, — без подготовки сказал Грубин. — Да!

Жена Корнелия уронила кусок мяса мимо кастрюли, прямо в помойное ведро.

— Что с ним? Я не переживу... — прошептала она.

— Ничего страшного, — смягчил удар Грубин, — руку вывихнул. Максимум — трещина в кости.

Жена Корнелия смотрела на Грубина круглыми злыми глазами — не верила.

— А почему домой не пришел? — спросила она.

— Ему в больницу пришлось идти. Может срастись неправильно. Но врачи обещают — все обойдется.

Жена Корнелия все не верила. Она сняла фартук, бросила на пол, и фартук мягко опустился вниз, храня форму ее объемистого живота. Она наступала на Грубина, как пума, у которой хотят отнять котенка, будто Грубин во всем виноват. Мысли ее были сложными. С одной стороны, она не верила Грубину, думала, что хочет успокоить, а в самом деле Удалову плохо, очень плохо. Но тут же, зная мужа, она предполагала заговор: пребывание Удалова в пивной или, того хуже, в вытрезвителе. Такого с Удаловым не случалось, но случиться должно было обязательно в силу его невезучести.

— Где он? — требовала она.

И Грубин не верил глазам своим. Еще вчера вечером была она добра к нему, стучалась в холостяцкую комнату, звала пить чай.

— В городской больнице, — сказал Грубин быстро, мотнул шевелюрой, шмыгнул к себе, двери захлопнул и прислушался — не рвется ли?

Не рвалась. Выскочила во двор и побежала к больнице. Грубин снял черный пиджак, постоял немного, держа его на вытянутой руке. От пиджака веяло жаром, исходил пар. В шкафу скреблись.

— Погоди. — Грубин положил проветренный пиджак на аквариум. Достал ключик, отворил шкаф.

Ворон вышел на пол, застучал когтями, разминаясь, расправил крылья, поглядел зло на аквариум и по-куриному протрусил к старому кожаному креслу с вылезающими пружинами.

Кресло, как и многое другое в комнате Грубина, досталось ему почти задаром, через лавку вторсырья, которой он заведовал. Любая вещь, кроме микроскопа, стоявшая, лежавшая либо валявшаяся в углу, была добыта им по случаю и могла похвастаться длительной историей.

Взять, к примеру, кресло. Пружины его были сломаны от излишнего пользования, торчали опасно. Один подлокотник был начисто лишен кожи, второй — цел. Очевидно, владелец любил опираться на локоть. Еще были два пореза на сиденье, будто кто-то вспарывал кресло саблей, да сквозные отверстия в спинке. Может быть, стреляли в спину сидевшему. Картину дополняли всевозможные пятна, от чернильных до яичных, разбросанные в различных местах.

Ворон метко вспрыгнул на кресло, чтобы не напороться на обломок пружины, нахохлился.

Ворон был обижен недоверием.

— Хочешь погулять? — спросил Грубин.

Он подошел к окошку и открыл его.

Ворон еще с минуту крепился, обижался. Потом прыгнул на подоконник. И улетел.

— Ну ладно. — Грубин заткнул за пояс голубую майку. Идти на рынок, открывать лавку, принимать от населения бутылки и вторичное сырье не хотелось. День вышел увлекательный.

Грубин поднял ногу, повозил ею о другую, стаскивая ботинок. Повторил операцию со вторым ботинком. Со двора в комнату плыли истома и медовый запах лип. Грубин улегся на кровать с никелированными шарами на спинке, но спать не стал — смотрел, как на захламленном верстаке крутится, поскрипывает «вечный двигатель». Маленький, опытная модель. Двигатель крутился второй месяц, только в плохую погоду отсыревал, и его приходилось тогда подталкивать рукой.

Грубин был доволен жизнью. Она ничего не требовала от него, но оставляла время для невинных удовольствий и рукоделий.

## 7

Шурочка подвела пионеров к комнате Милицы Федоровны Бакшт. С ними увязался Миша Стендаль. Пришлось и его взять. Постучала осторожно. Знала, что у старухи слух хороший. Если не спит, откроет. Прислушалась. Ей показалось: за дверью голоса, шепот, шаги. Потом стихло.

— Сейчас, — сказала за дверью Бакшт. — Входите.

Все в комнате как прежде: та же застойность замкнутого воздуха, те же акварели и гравюра на выцветших обоях, банки с дремучими цветами на подоконнике, в углу фикус в расползшейся кадке. Милица Федоровна сидит за круглым столом. На скатерти, темно-зеленой, чуть тронутой молью, альбом в красном сафьяновом переплете с золотыми застежками в виде львиных голов.

Милица Федоровна выглядела странно. Она будто утеряла долю своей царственности, обмякла, сломалась. Редкие белоснежные волосы, сквозь которые просвечивала розовая сухая кожа, чуть растрепались на висках, чего никогда ранее не было. Пергаментные щеки были в пятнах, темных, почти красных.

— Извините, — сказала Шурочка. — Мы к вам пришли, как договаривались. Вы нам рассказать обещали.

— Помню. — Бакшт кивнула. — Пусть дети войдут.

Дети вошли, поздоровались. Старуху Бакшт они раньше не видели и удивились, что бывают такие старые люди. Голова Милицы Федоровны совсем ушла в плечи, руки раскинулись и лежали на столе будто чужие, неживые. Нос спустился к верхней губе, и даже на нем были глубокие морщины. Только глаза, большие, серые, в темных ресницах, разнились от остального.

— Садитесь, — предложила Милица Федоровна. — Ведите себя тихо и не курите.

— Не курю, — сказал Стендаль, потому что Шурочка посмотрела на него строго.

— Я не могу уделить вам время, коего вы бы желали, — продолжала старуха. — Посмотрите мой альбом. Подойдите к столу, не робейте.

В комнате произошло движение, воздух качнулся, запахи шафрана, камфары, ванили перемешались между собой, и к ним прибавился выскочивший из-за ширмы запах одеколона «Шипр».

Стендаль потянул носом, посмотрел на ширму. Из-под нее были видны носки мужских сапог. Знакомые носки. Сапоги принадлежали старику-похитителю. Но Миша ничего резкого предпринимать не стал. Пока дети склонялись над альбомом, начал незаметно передвигаться к ширме.

— На этой фотографии, — говорила размеренно старуха, — изображена я в форме сестры милосердия.

— До революции? — спросил рыженький пионер.

— Да, в Севастополе.

Значение этих слов ускользнуло от пионеров. Шурочка удивилась. Она этот альбом раньше не видела. Средних лет женщина в длинном белом платье и наколке на голове стояла на фоне мешков с песком, окружавших старинную пушку. По обе стороны ее — офицеры в высоких фуражках. Лицо одного было чем-то знакомо...

— Кто это? — спросила Шурочка.

— Один знакомый. Не помню уж сейчас, как его звали, — сказала Бакшт. — Кажется, Левочкой.

Стендаль продолжал движение к ширме. Он наступал на носки и только потом опускал пятки. Пока его движение не было замечено.

— А тут стихи поэта Полонского. Вы, очевидно, не знаете такого. Это был отличный поэт. Сам государь император высоко о нем отзывался. Стихи были посвящены хозяйке дома.

Милица Федоровна начала читать их на память, и пионеры следили за ней по тексту. Читала она правильно.

До ширмы оставалось метра полтора. Носки зашевелились и отступили вглубь. Облезлая серая кошка выскочила из-под ширмы и бросилась на грудь Стендалю. Миша от неожиданности отскочил. Чуть не свалил фикус.

— Господи! Что происходит? — закричала молодым голосом Милица Федоровна.

— Кошка, — объяснил Стендаль.

— Вернитесь немедленно сюда, — велела Милица Федоровна. — В ином случае я буду вынуждена указать всем на дверь.

— Я ничего... — смутился Стендаль. — Мне показалось...

— Миша! — строго произнесла Шурочка.

В комнате наступил мир. Стендаль вернулся к столу.

Он тоже стал смотреть альбом, но глазом косил на ширму. Кошка улеглась старухе на колени и тоже косила глаза — на Мишу. Как бы угрожала.

— А теперь обратимся к моей молодости, — сказала Бакшт. Она торопилась, волновалась. Говорила громко.

На следующей странице была нарисована акварелью девушка в платье с глубоким вырезом на груди.

— Это я, — сказала Милица Федоровна. — В бытность мою в Санкт-Петербурге. А эти стихи написал мне в альбом Александр Сергеевич Пушкин. Он танцевал со мной на балу у Вяземских.

Пионеры, Шурочка и Стендаль замерли как пораженные громом. Старуха сказала эти слова так просто, что не оставалось места для недоверия. Страница была испещрена быстрыми летучими буквами. И внизу была подпись: «Пушкинъ».

В этот момент из-за ширмы быстро вышел старик с желтоватой бородой и, в два шага достигнув двери, исчез за нею, унеся с собой настойчивый одеколонный запах. Никто не заметил его. Даже Стендаль. Только сиамская кошка проводила его разными глазами: один — красный, другой — голубой.

## 8

Вечер, пожалев измученный жарой и происшествиями город, выполз из-за синего леса, отогнал солнце к горизонту и принялся играть красками заката. Пыль отсвечивала розовым, дома порозовели, зазолотились стекла. Лишь провал оставался черным на сизом асфальте. Вокруг уже было надежное ограждение: веревки на столбиках. Все смягчилось — и воздух, и люди. Кто шел в кино или просто погулять, останавливались у провала, распространяли различные слухи о сказочных находках, сделанных в нем.

Рассказывали об одном экскаваторщике, унесшем втихомолку золотую цепь в два пуда весом, и хвалились знакомством с ним. Указывали на следователя, что гулял с женой по Пушкинской, уверяли, что не гуляет, а выслеживает. Экскаваторщику сильно завидовали, но надеялись, что его поймают и дадут по заслугам.

Удалов лежал у окна в небольшой палате. Боль в руке утихла. Грубин угадал — оказалась трещина. Хоть в этом повезло. Обещали завтра отпустить домой. Прибегала жена. Сначала беспокоилась, сердилась, потом оттаяла, принесла из дома пирог с капустой. Перед уходом постояла у окна, подержала мужа за здоровую руку.

Прибегал сын Максимка, приводил друзей из школы, хвастался отцом в больничном окошке.

Проходившие люди кивали, здоровались. Удалову внимание надоело, он отодвинулся от окна, подогнув ноги и переложив подушку на середину кровати. Он не знал, что его имя также склоняют в связи с сокровищем. Одни говорили, что Удалов пострадал, задерживая человека с золотой цепью. Другие — что старался убежать вместе с преступником для дележа добычи, но оступился.

Пришел к провалу и провизор Савич. Посмотрел в непроглядную глубину и решил все-таки зайти в гости к Елене. Давно не был. Домой ему идти не хотелось.

Пока Савич добрался до Кастельской, наступили сумерки. Первые фонари зажелтели по улицам. В окне Елены горел свет. Она читала. Савич вдруг оробел.

Напротив, у автобусной остановки, стояла скамейка — чугунные ножки в виде лап. Савич сел, сделал вид, что поджидает автобус, а сам повторял мысленно речь, которую произнес бы, если бы набрался храбрости и вошел к Елене.

Он сказал бы: «Елена, сорок лет назад мы не закончили разговора. Я понимаю, дело прошлое, время необратимо. Где-то на перекрестке мы избрали не ту дорогу. Но если, Елена, ошибку нельзя исправить, в ней стоит хотя бы признаться».

Темнело медленно, и небо на западе было зеленым. Дюжий мальчик из речного техникума не дождался Шурочку на девятичасовой сеанс, продал лишний билет и пошел один. И пил с горя лимонад в буфете.

Удалов поужинал без аппетита и задремал, обдумывая один план.

Старухе Милице Федоровне Бакшт не спалось. Она достала трость, с которой выходила в собес или на рынок, накинула кашемировую шаль с розами темно-красного цвета и пошла погулять. По пути раздумывала, не совершила ли ошибки, показав автограф Пушкина пионерам. Но дело шло о ее женской чести — Любезному другу надо было уйти незамеченным.

Грубин проснулся, покормил рыбок, потушил свет и отправился проведать соседа, Корнелия Удалова.

Ванда Казимировна, директор универмага и супруга Савича, съела в одиночестве остывший ужин, взгрустнула и стала мучиться ревностью.

Совсем стемнело. Над лесами собралась гроза, и зарницы вырывались из-за гребенки деревьев, будто злоумышленник сигналил фонарем.

Удалов шептался с Грубиным, стоявшим под окном больницы. Удалов решил убежать и ждал удобного момента. Назавтра ему вновь собирались делать рентген и процедуры — он их боялся. Было и другое соображение. Кончался квартал — надо срочно покончить с провалом и другими недостатками. Удалов сильно рассчитывал на премию.

Сторожиха музея проверила, заперты ли все двери-окна. Посидела на лавочке под отцветшим кустом сирени, но комары скоро прогнали ее в дом. Она вздохнула, перекрестилась на здание городского архива и ушла.

На реке было тихо, и ее лента с черными полосками заснувших барж была чуть светлее синего неба.

Во двор музея вошел старик с тяжелой палкой. Запах одеколона отпугивал комаров, те кружили, кричали комариными тонкими голосами, сердились на старика, но сесть не осмеливались. Старик медленно поднялся по лестнице на крыльцо, не спешил, утихомиривая скрип ступенек. Прислушался у двери, рассеянно водя пальцем по стеклянной вывеске «Городской музей».

Из парка долетало буханье барабана — играли вальс «На сопках Маньчжурии». Никого.

Старик вынул из кармана отмычку и принялся елозить ею в солидном музейном замке. Замок долго сопротивлялся — старый был, надежный, — но поддался, оглушительно щелкнул. От замочного звука заахали, замельтешили окрестные собаки. Старик поглядел на дверь сторожки — нет, сторожиха не обеспокоилась... Старик снял замок, положил осторожно на перила и потянул на себя дверь, обшитую коленкором. Тянул и ждал скрипа. При скрипе замирал, потом снова на полвершка оттягивал дверь на себя. Наконец образовалась щель. Старик просунул вперед палку, потом сам проскользнул внутрь с ловкостью, неожиданной для своего возраста. Прикрыл за собой дверь. Прислонился к ней широкой сгорбленной спиной и долго хрипел — отдыхал от волнения.

Сначала старик сделал ошибку — отправился в музейные фонды. Он знал расположение комнат. В темноте спустился вниз, в полуподвал, поработал отмычкой над фондовой металлической дверью — торопился и потратил на открывание минуты три. Анфилада фондовых комнат тонула во тьме. Старик вынул из кармана тонкий, с авторучку, фонарик и, прикрывая его ладонью от окон, медленно прошел по комнатам.

Портреты уездных помещиков в золотых багетах глядели со стен, разрозненные гарнитуры, впритык друг к другу, заполняли комнаты. В шкафах таились выцветшие сарафаны, купеческие платья и мундиры городовых. Керосиновые лампы с бронзовыми и фарфоровыми подставками тянули к потолкам пыльные фитили, и давно остановившиеся позолоченные часы — пастух и пастушка — поблескивали под случайно упавшим лучом фонарика.

В фондах не было того, что искал старик. Он вышел, закрыл за собой дверь — запирать не стал: времени нет — и остановился в задумчивости. Куда они могли все спрятать? Потом крякнул: как же раньше не догадался? И поспешил, постукивая палкой, в кабинет директора на втором этаже.

На этот раз он не ошибся. Три бутылки и колба стояли на столе, рядом с макетом памятника землепроходцам. И две книги. Еще книги и пустые реторты лежали на черном кожаном диване.

Движения старика приобрели силу и уверенность. Он ощупывал бутылки, светил им фонариком в бока, угадывая жидкость по цвету. Одну бутыль раскупорил и понюхал. Сморщился, как от доброго табаку, чихнул и заткнул снова резиновой пробкой. Перебрал книги на диване. Одну реторту, с порошком на дне, положил осторожно за пазуху. Еще раз пересмотрел бутыли и книги.

Никак не мог найти чего-то крайне нужного, ценного, ради чего пришел сюда в такой час.

Старик тяжело вздохнул и остановился в задумчивости у сейфа. Сейф вызывал в нем подозрения. Двух бутылок не хватало. Старик с минуту постоял, раздумывая: почему пропали именно те две бутыли? Ему вдруг захотелось, чтобы их в сейфе не оказалось, ибо если они отделены от остальных, значит, кто-то разгадал, хотя бы частично, его секрет.

Сейф сдался через двадцать минут. На верхней полке его лежали музейные важные дела, ведомости членских взносов, печать и менее нужные бумаги. На нижней полке — две небольшие бутыли. Старик угадал, и правильность догадки его не обрадовала. Тем более отсутствовала одна вещь, наличие которой было необходимо для успеха предприятия. И он начал догадываться, куда она могла деться.

Старик медленно и грустно спустился по лестнице, утопив бутыли в обширных карманах. Забыл, что находится в музее нелегально, широко распахнул входную дверь. Дверь взвизгнула петлями. Старик не слышал визга. Он думал. Дверь гулко захлопнулась. Внизу под лестницей поджидала перепуганная сторожиха, прижав к губам милицейский свисток.

Старик не сразу заметил сторожиху. Из задумчивости его вывел свист, короткий, захлебнувшийся, — сторожиха оробела и не смогла толком дунуть. Рука дрожала, свисток молотил по зубам.

— Ты что здесь делаешь? — спросил старик, все еще думая о другом. — Ты зачем здесь? — повторил он с пристрастием.

— Батюшки! — Сторожиха отступила назад, топча музейную клумбу. — Туда же нельзя. Музей закрыт.

— А я в музей не собираюсь, — сказал старик. Он пришел в себя, вспомнил, где он и почему здесь.

— Батюшки... — повторила сторожиха. — Неужто это вы? По голосу узнала. Дитем была, а по голосу узнала.

— Обозналась, — сказал старик. — Я приезжий. Хотел с достопримечательностями ознакомиться. Хожу. Смотрю.

— Да чего же от меня скрываться, — обиделась сторожиха. — Я хоть и дитем была, но помню, как сейчас помню.

— Ладно, — сказал старик. Он уже спустился по лестнице и стоял на дорожке, высясь над сторожихой. Карманы оттопыривались, и жидкость явственно булькала в бутылях.

Сторожиха, смущенная встречей, растерянная, уже не злилась. С горечью решила, что старик пьет и спиртное носит в карманах.

— Может, переночевать негде? — спросила она.

Старик помягчел.

— Не беспокойся, старая, — сказал он. — Лето сейчас. Комар меня не берет. Добро всякое кто сегодня приносил в музей?

— Старая директорша. Елена Сергеевна. Они потом еще долго здесь просидели.

— Чего с собой унесла?

— С внуком она была, с Ваней. На пенсии она теперь.

— Книжка была у нее? Старая.

— Она зачастую с книжками ходит.

— Она уходила — книжка была у нее?

— Была, была. Конечно, была, как не быть книжке.

— Давно ушла?

— Еще светло было...

— Куда пошла?

— Домой к себе, на Слободскую...

## 9

Удалов уже совсем собрался бежать из больницы, но тут кончился девятичасовой сеанс в кино, по улице пошли люди, с разговорами и смехом. Зажигали спички, прикуривали. Луны не было — из-за леса натянуло грозовые тучи. Грубин прижался к стене. Удалов присел за подоконником. В палате уже было темно, свет выключен, больные спят.

— Миновали, — прошептал наконец Грубин, давая сигнал.

Последним прошел киномеханик, звеня ключами от кинобудки.

Можно было начинать бегство. Удалову очень хотелось, чтобы прошло оно незаметно и благополучно. Если его поймают сейчас и вернут, будет немало смеха и издевательских разговоров. Но утра ждать нельзя. Утром в больнице наберется много врачей и персонала. Не отпустят. Удалов оперся на здоровую руку и сел на подоконник.

Сзади скрипнула дверь... Сестра. Удалов зажмурился и прыгнул вниз, в руки Грубину. Больную руку держал кверху, чтобы не повредить. Так и замерли под окном скульптурной группой.

Перед носом Корнелия шевелились грубинские пышные волосы. Удалов зажмурился, ожидая сестринского крика. И ему уже чудилось, как зажигаются во всех больничных окнах огни, как начинают суетиться по коридорам нянечки и медсестры и все кричат: «Убежал! Убежал! Обманул доверие!»

— Ай! — простонал Корнелий.

Грубин толкнул его головой в рот, чтобы хранил молчание.

В палате было тихо. Может, сестра не заметила, что одного пациента не хватает. А может, и не сестра это была, а кто-нибудь из ходячих больных пошел в коридор. Корнелий тяжело вздохнул, обмяк и попросил:

— Подожди минутку, передохну. Я все-таки больной человек.

И тут они услышали тяжелые неровные шаги. Шаги приближались неумолимо и сурово, будто передвигается не человек, а памятник. По самой середине улицы, не скрываясь, прошел высокий старик с палкой. Прошел, неровно и скупо освещенный редкими фонарями, и только тень его еще некоторое время удлинялась и покачивала головой у ног Удалова.

Остался запах одеколона, странное бульканье, исходившее от старика, да постук палки.

— Подозрительный старик, — сказал Удалов шепотом. Старика он испугался и потому теперь хотел его унизить. — У провала вертелся, помнишь? Меня в пропасть толкнул.

— Ты сам толкнулся. Нечего уж... — отозвался справедливый Грубин.

— И не извинился, — добавил Удалов. — Человека довел до больницы, до травмы, а не извинился. Травма моя бытовая, и по бюллетеню платить не будут. Надо с него взыскать.

— Кончай, Корнелий, — увещевал Грубин. — Чего возьмешь со старика.

— Я ему иск вменю, — решил Удалов. Теперь он понял, кто во всем виноват.

Удалов вскочил и, неся впереди больную руку как ручной пулемет, мелко побежал по улице вслед за стариком. Бежал негромко: ему хотелось узнать, где живет старик, но говорить с ним сейчас, на темной улице, не стоило. У старика палка. А Удалов вне закона. Беглец.

Грубин вздохнул и догнал Корнелия. Он шел рядом и отговаривал. Намекал, что такая погоня может отразиться на здоровье. Удалов отмахивался. От друга и от злых комаров...

Шурочка уже три раза сказала Стендалю, что ей пора домой, но не уходила. Ей и в самом деле пора было домой. Стендаль отвечал: «Нет, посидим еще». Он неоднократно ходил на угол, где стояла мороженщица, и приносил Шурочке эскимо. И снова разговаривал о поэзии, чудесных совпадениях, планах на будущее, преимуществах журналистской жизни, маме, оставшейся в Ленинграде, любви к животным, долголетии и все прерывал себя вопросом: «Посидим еще?»

Шурочке было чуть зябко от предчувствий, но, когда стало совсем поздно, она встала и сказала:

— Я пошла. Мама будет ругаться.

— Завтра вы свободны? — спросил Стендаль.

— Не знаю, — сказала Шурочка. — Ты меня не провожай.

Она боялась, что дюжие мальчики из техникума увидят Стендаля с ней и побьют Мишу.

И тут раздались шаги. Шаги были тяжелые, с палочным пристуком. По улице, направляясь к мосту через Грязнуху, шел старик с палкой. Знакомый запах одеколона сопровождал его.

Стендаль почувствовал, как все внутри его напружинилось. Старик был тайной. В нем было нечто зловещее.

— Идем, — сказал Стендаль. — Этого человека упускать нельзя.

...Милица Федоровна Бакшт в задумчивости гуляла куда дольше, чем положено в ее возрасте. Попала даже на Слободу, чего не случалось уже лет тридцать. Она брела домой в ночи, пора бы спать, слабые ноги онемели, и проносившиеся с ревом автобусы пугали, заставляли прижиматься к стенам домов. Может, уже и не дойти до дома, до фикуса и шафранной полутьмы. Кошка послушно семенила сзади, стараясь не отставать, и глаза ее горели тускло, как в тумане.

Крупная женщина обогнала Милицу Федоровну, но не посмотрела в ее сторону. Женщину Милица Федоровна знала плохо — видела раза два из окна, когда та выходила из универмага.

Савич узнал жену по походке. Когда-то этот перезвон каблуков его пленял, казался легким, элегантным. Потом прошло — осталось умение гадать издали, среагировать. И сейчас среагировал. Понял, что жена мучается ревностью, разыскивает его. В два прыжка перемахнул через улицу и спрятался за калиткой во дворе Кастельской. Ванда Казимировна задержалась перед окном, заглянула, увидела, что Кастельская одна. Сидит за столом, читает. Савича там нет. Успокоилась и пошла дальше, к мосту, медленнее, как бы прогуливаясь.

Савич собрался было вернуться на улицу, но только сделал движение, как снова послышались шаги. С двух сторон. Одни — тихие, шаркающие, будто человек не двигается с места, а устало вытирает ноги о шершавый половик. Другие — тяжелые, уверенные. Савич остался в тени. Калитка дернулась под ударом, распахнулась. Задрожал заборчик. Высокий старик с палкой ворвался во двор, чуть не задел Савича плечом, обогнул дом и — раз-два-три! — взгромоздился по ступенькам к двери. Постучал.

Савич выпрямился. Старика он где-то видел. Старик ему не понравился. Было в нем нечто агрессивное, угрожающее Елене. Савич хотел подойти к старику, задать вопрос, но удержался, боялся попасть в неудобное положение: сам-то он что здесь делает?

Пока Савич колебался, произошли другие события. Во-первых, дверь к Елене открылась и старик, не спрашивая разрешения, шагнул внутрь. Во-вторых, в калитку вбежал молодой человек в очках. Он тащил за руку очаровательную Шурочку Родионову, подчиненную Ванды. Молодые люди остановились, не зная, куда идти дальше. Тут же перед калиткой обозначились еще две фигуры: одна держала перед собой вытянутую вперед белую толстую руку; вторая была высока, и лохматая ее голова под светом уличного фонаря казалась головой Медузы горгоны. Удалов заметался перед калиткой, а Грубин вытянул жилистую шею, заглянул в окно Кастельской и сказал:

— Он там.

Удалов тут же устремился во двор, обогнал, не видя ничего перед собой, Шурочку с ее спутником и принялся барабанить в дверь.

— Что-нибудь случилось? — спросил Савич, выйдя из темноты.

— Не знаю, — искренне ответил Грубин. — Может быть.

— Я ж тебе говорил, — сказал Миша Стендаль Шурочке и тоже подошел к крыльцу.

Первым вбежал в комнату Удалов. Хотел даже поздороваться, но слова застряли в горле. Старик прижал Елену Сергеевну в углу и старался отнять у нее растрепанную тетрадь в кожаной обложке. Елена Сергеевна прижимала тетрадь к груди обеими руками, молчала, смотрела на старика пронзительным взором.

— Ах ты!.. — сказал Удалов. Он выставил вперед загипсованную руку и с размаху ткнул ею старика в спину.

Старик сопротивлялся.

На помощь Удалову подоспел Савич: им двигал страх за судьбу некогда любимой женщины. Старик охал, рычал, но не сдавался. Уже и Грубин, и Удалов, и Стендаль, даже Шурочка отрывали его, тянули, а он все сопротивлялся, поддаваясь, правда, понемногу совместным усилиям противников.

Бой шел в пыхтении, вздохах, кряканье, но без слов. А слова прозвучали от двери.

— Прекратите! — произнес старческий голос. — Немедленно прекратите.

В дверях, опираясь на трость, стояла вконец утомленная Милица Федоровна Бакшт. У ног ее, сжавшись пантерой, присела старая сиамская кошка.

Старик отпустил тетрадь и отступил под тяжестью насевших на него врагов. Повел плечами, стряхнул всех и как ни в чем не бывало сел на стул.

— Как дети, — сказала Милица Федоровна. — Дайте стул и мне. Я устала.

## 10

— Любезный друг, — начала Милица Федоровна, — вы вели себя недостойно. Вы позволили себе поднять руку на даму. Извинитесь.

— Прошу прощения, — проговорил старик смущенно. Елена Сергеевна еще не пришла в себя. Прижимала к груди тетрадь, не садилась.

— Мой друг не имел в мыслях дурного, — продолжала Милица Федоровна. — Однако он взволнован возможной потерей.

— Мне он с самого начала не понравился, — сказал Удалов. — Милицию надо вызвать.

— Справимся, — успокоил Стендаль.

— Так разговора не получится, Елена Сергеевна, — сказал старик.

— Ну-ну, — возразил Удалов. Он был смел: с ним была общественность. — Я руку из-за вас сломал.

— Сам прыгнул, — сказал старик без уважения.

— Любезный друг, — произнесла старуха Бакшт, — боюсь, что теперь поздно ставить условия.

Затем она обернулась к Удалову и Стендалю.

— Мой друг не повторит прискорбных поступков. Я ручаюсь. — В голосе ее звучала нестарушечья твердость.

Удалову стало неловко. Он потупился. Стендаль хотел возразить, но Шурочка дернула его за рукав.

— Я полагаю, — продолжала Бакшт, — что наступило время обо всем рассказать.

— Да, стоит объясниться, — согласилась Елена Сергеевна. Она положила злополучную тетрадь на стол, на видное место.

— Что вы знаете? — спросил старик у Елены Сергеевны.

— То, что написано здесь.

Старик кивнул. Оперся широкими ладонями о набалдашник палки. Был он очень стар. Неправдоподобно стар.

— Ладно, — сказал он. — Суть дела в том, что я родился в тысяча шестьсот третьем году.

Удалов хихикнул. Засмеялся негромко, поглаживая курчавые ростки вокруг лысины, Савич. Заразился смехом, прыснул Стендаль. Широко улыбался Грубин. Шурочка тоже улыбнулась, но осеклась, согнала улыбку, вспомнила альбом старухи Бакшт.

Сама Бакшт не смеялась.

...Ванда Казимировна заглянула в окно, увидела мужа веселым, в компании. Это переполнило чашу ее терпения. Она вошла в дом. Она была в гневе. Топнула мускулистой ногой, прерывая веселье, и спросила, обращаясь большей частью к мужу:

— Смеетесь? Веселитесь?

Савич опал с лица. Хотел встать, извиниться, хотя и не был виноват. Но и тут порядок навела старуха Бакшт.

Она сказала громко и строго:

— Кто хочет смеяться, идите в синематограф. А вы, мадам, садитесь и не мешайте разговору.

Удивительно, но всем расхотелось смеяться. И Ванда Казимировна села на свободный стул рядом с Шурочкой и притихла.

Старик будто ждал этой паузы. Он произнес размеренно:

— Я родился в тысяча шестьсот третьем году.

На этот раз никто его не перебил, никто не улыбнулся. Стало ясно, что старик не врет. Что он в самом деле родился так давно, что он — чудо природы, уникум, судьба которого таинственным и чудесным образом связана с провалом на Пушкинской улице.

— Отец мой был беден. Мать умерла от родов. Жили мы здесь, в городе Великий Гусляр, на Вологодской улице. Отец был сапожником, крестили меня в Никольской церкви, что и поныне возвышается на углу улиц Красногвардейской и Мира. Окрестили Алмазом. Ныне имя редкое и неизвестное.

Старик закашлялся. Кашлял долго, сотрясал большое, видно, совсем уже пустое внутри тело.

— Испить не найдется, Елена Сергеевна? — спросил старик.

Шурочка сбегала на кухню, принесла стакан холодного молока. Старик выпил молоко, вытер не спеша усы синим платком.

— Мальчиком отдали меня в услужение купцу Томиле Перфирьеву, человеку скаредному, нечистому на руку. Бил он меня нещадно. Но рос я ребенком сильным, хотя мясо видал лишь по большим церковным праздникам. Помню, были слухи о поляках, которые взяли Москву. До нас поляки, правда, не добрались, но было великое смятение.

Старик говорил медленно, стараясь вобрать в современные, понятные слушателям слова события семнадцатого века. Будто сам уже не очень верил в то, что были они. И сам себе казался лживым — что за дело этим людям до бестолкового шума базарной площади, до заикающегося дьяка с грамотой в руках, до затоптанной нищенки и тройного солнца — зловещего знамения! Было ли такое или подсмотрено в кино через триста лет?

— Кому скучно, может уйти, не настаиваю, — сказал вдруг зло старик. Ему почудились насмешки на лицах.

Никто не ответил. Провизор Савич понимал, что надо требовать доказательств, потому что иначе получается кошмар. Нереальность подчеркивалась тем, что в одной комнате, впервые за много лет, оказались Ванда и Елена.

Старик молчал, смотрел пронзительно, и утихал скрип стульев, шевеление, перегляды.

— Уличил я как-то хозяина в обмере, и это случилось на людях... Шрамы эти до сего дня не совсем сгладились — избил он меня. Ничего, отдышался, но кличку приобрел — Битый. Так звали. Получается — Алмаз Битый. Правда, я имя неоднократно менял, и в советском паспорте написано Битов. Но это не так важно. Подрос я, убежал из Великого Гусляра, и начались мои многолетние странствия. Сначала пристал я к торговым людям, что шли в Сибирь. Молодой я еще был и многое принял на себя. Если рассказывать, получится длинный роман со многими приключениями.

Дошел я с казаками до земли камчатской, бывал и в Индии, а когда вернулся в Россию, было мне уже под пятьдесят, обладал я некоторой известностью как отважный и склонный к правде человек, и если кто из вас имеет доступ к архивам, то сможет найти там, коли уцелели после многих пожаров, столбцы, в которых упомянуто о моих делах и походах. Было вокруг угнетение и чванство, обиды и скорбь. И тогда я подался на юг, в Запорожскую Сечь. Стал я полковником запорожского войска и думал, что завершу жизнь в походах и боях, но случилось однажды такое событие...

Старец Алмаз прервал речь, помолчал с полминуты.

Слушатели заинтересовались, поддались гипнозу сухих фраз, за которыми вставали события, правдивые потому, что говорилось о них так кратко и сдержанно.

— Вам такого имени, как Брюховецкий, Ивашка Брюховецкий, слыхать не приходилось? И вам, Елена Сергеевна? Это понятно. Человек этот канул в Лету и известен только историкам-специалистам. А ведь в мое время имя его на Сечи, да и во всей Руси, было весьма знаменитым. Для людей он был гетманом запорожским, для меня прямым начальником...

Вызывает этот Брюховецкий меня к себе и говорит: «Есть к тебе, Алмаз Федотович, тайное и срочное дело. Порадовал меня царь грамотой, велел охрану выслать, старца Мелетия встретить и до безопасных мест проводить. Я-то людей послал, да они пощипали того старца, все, что при нем было — шесть возов да грамоты заморские, — себе взяли. Теперь царь гневается. Где, спрашивает, награбленное? Второй день у меня подьячий Тайного приказа Порфирий Оловенников сидит, списки награбленного показывает, требует вернуть. Грозит... Выручай, Алмаз. Что делать?» Я сразу понял: юлит Ивашка Брюховецкий, потому как не иначе грабители с ним щедро поделились. А расставаться с добром кому захочется. Я и спрашиваю: «Грамотки где? Вряд ли царь стал Оловенникова, хитрого человека, к тебе посылать из-за шести возов. Грамотки покажи». Брюховецкий поотнекивался — вроде не знает, где грамоты, слыхом не слыхивал. Потом вспомнил вроде, принес. Я попросил разобраться. Брюховецкий спорить не стал. Сказал только — с утра призовет, чтобы все было ясно. И вернулся я к себе домой...

«По-моему, я встречала эту фамилию — Брюховецкий», — думала Елена Сергеевна. Разогнала воздух перед лицом — надымили курильщики.

Стендалю стало скучно. Он вертелся на стуле, шуметь не осмеливался, кидал взгляды на Шурочку. Удалов баюкал руку — видно, ныла. Грубин слушал внимательно — представлял спесивого гетмана, у которого под дверью сидит московский подьячий из приказа тайных дел.

— Я позвал одного писаря, грека, не помню, как его звали. С ним мы грамотки разобрали. И были они любопытные — в них восточные патриархи признавали власть Алексея Михайловича беспредельной. А Никона, русского патриарха, ставили ниже царя. Грамоты были куда как важны — подьячий не зря тратил время. Царь хотел с Никоном покончить, да не смел своей властью патриаршего сана лишить. Послов в Иерусалим, в Антиохию слал, тамошних патриархов задабривал, помощи просил. Был среди бумаг один список — очень меня заинтересовал. Список был с грамоты самого Никона. Честил в ней Никон царя и бояр, звал к правде, жаловался на произвол царский, грозил войной. Очень эта грамота соответствовала моему душевному состоянию — я много лет справедливости искал, и вот она, писцами переписанная, справедливость, великим человеком высказанная, который против царя и бояр идет. Я тогда в патриаршей политике не разбирался, решил — буду жив, увижу старца, попрошу, чтобы направил меня на путь истинный.

Утром пришел к Ивашке Брюховецкому и советую ему: «Ты, — говорю, — отдай чего-то из взятого, пустяк отдай. Но вот эти четыре грамоты, патриархами написанные, обязательно возврати. И от тебя царь отступится. Скажи, все у казаков забрал, в церковь сложил, а церковь возьми и сгори». Ивашка меня пытает: «А обойдется ли?» — «Обойдется», — говорю.

Так Брюховецкий и сделал. Подьячий, как увидел патриаршие грамотки, в лице цветом восстановился — за этим и ехал...

Старик разговорился, голос окреп; он взмахивал палкой, словно булавой либо саблей, забыл о слушателях — не до них было. События обрастали плотью, пыльные имена превращались в людей.

— Я стремился в Москву. Но попал туда только года через два-три, когда уже к Москве подъезжали через Грузию, по Волге, царем созванные восточные патриархи, чтобы судить Никона. Брюховецкий тогда в Москву поехал, к царю на поклон. И удалось мне через подставных людей с Никоном связь установить. В то время грозила ему ссылка простым монахом-чернецом в северный монастырь, но старик не сдавался, борьбу конченой не считал. По-современному говоря, были у него еще большие связи в верхах. За них держался. А с другой стороны, обратил свое внимание к народу. Может, и не от большой любви — а что делать? Бой-то проигран. Меня Никон пригрел в одном монастыре, старцем Сергием называли. Но саблю я еще в руках держать мог. Сидение в монастыре томило меня, хотя Никон обнадеживал: надвигаются, говорил, времена. Послужишь ты еще, Алмаз, правому делу...

Вы уж потерпите, — сказал вдруг старик миролюбиво Стендалю, который вынул записную книжку и что-то свое стал писать в ней. — Мне недолго осталось. Сейчас к делу перейду. Без этого, что рассказал, вам моя позиция и судьба останутся неясными.

— Я ничего, я конспектирую, — смутился Стендаль и закрыл книжечку.

— С юга, с Волги, пришли вести: поднялся Стенька Разин. Он Долгорукому смерть брата своего Ивана простить не мог. Смелый был человек. И хоть Прозоровский, астраханский воевода, ему прощение за старые дела от царского имени высказал, он все равно по Волге пошел, царя решил скинуть. Как на подворье у нас об этом заговорили, понял я: не сегодня-завтра меня к Никону призовут. Был тогда Никон простым монахом, опозоренный, в Ферапонтовом монастыре, в наших вологодских местах заточен. Но в монастыре его знали, опасались, что он мог еще властью пользоваться. Призвал меня, сказал: «Ты, казак Алмаз, иди к Степану Тимофеевичу на Волгу. Без меня, — говорит, — Степану с царем не совладать. Он сам это знает. Слыхал я, есть среди его стругов один, черным бархатом обит, и пустил Степан слух, что в этом струге я плыву. Так поезжай туда, посмотри, вроде как мой посол будешь». Благословил меня Никон, и ушел я на Волгу. Я и в Астрахани был, когда Прозоровского с раската кинули, и Царицын брал, и под Симбирском с войском стоял. Все было. Только, конечно, рясу-то скинул и, хоть звали меня по-прежнему старцем Сергием, дрался я по-казачьи. Тогда-то с Милицей я и познакомился.

Алмаз указал узловатым пальцем на старушку, дремавшую в углу с кошкой на коленях.

Все послушно обернулись к ней.

— Была она тогда и сейчас есть — персидская княжна, про которую известную песню сложили. Будто ее Степан Тимофеевич за борт в Волгу кидал.

— Ой! — удивилась Шурочка Родионова. — Я думала, что это — сказка.

— Не будите ее, — сказал Алмаз. Да никто и не собирался будить Милицу Федоровну. — В песне говорится, что Степан Тимофеевич ее за борт кинул, так неправда это. Грозился, клялся даже, чтобы ревнивых казаков успокоить. Но ведь не бандитом он был. Был он к тому времени государственным деятелем, армию вел за собой.

Инцидент, правда, был, признаю. Я тогда на том же струге, что и Степан, находился. Мы спорили с ним сильно. Расхождения у нас были. А тут пришли некоторые руководители. Сказали: Симбирск скоро, там законная супруга ожидает; нехорошо, коли с княжной появитесь, для морального состояния войск. И Степан Тимофеевич согласился. Девка по-русски ни слова не знала. Только глазищами вертела, казаков с ума сводила. Степан выругался, велел ее мне, как человеку надежному, взять ночью, перевезти на черный никоновский струг. Там она и была. А в Симбирске мы ее в доме одном поселили. И ты, кудрявый, не скалься. Если все будет как надо, завтра вы ее не узнаете. Первая красавица в Персии она была. Первой красавицей и здесь будет.

Старик уморился, перевел дыхание. Воздух проходил в легкие тяжело, громко. Старик вынул пачку «Беломора», закурил.

Вокруг заговорили, но слова были будничные, никто о рассказанном не упоминал, не знал еще, как и что надо будет сказать.

Шурочка принесла напиться Ванде Казимировне. Елена накинула шаль на плечи Милице Федоровне, чтобы та не замерзла.

За окном были тишь, темень, прохлада. Собака вдали брехала лениво, сонно. Будто комар ее укусил, вот и отругивала его.

— Дальше рассказывать — одна печаль, — сказал старик. — Восстание, как вы знаете, было подавлено. В Арзамасе князь Долгорукий двести виселиц поставил. На каждой по полсотне людей погибло. Вот и считайте... Но меня при том не было. Я с двумя сотнями казаков на север пошел, к Ферапонтову монастырю. Узнал меня Никон, обрадовался, да поосторожничал. Мы его уговаривали: возьмем Кириллов монастырь — там казна большая, пушки — и на Волгу, на помощь Степану спешить надо. Да не осмелился Никон. Остался... А нам возвращаться поздно было. К тому времени Степана с Фролом уже в Москву везли. Казаков я отпустил — пусть каждый как может счастья ищет. А сам хотел в лес уйти. Да был один, князь Самойла Шайсупов, приставленный к Никону царем... У Шайсупова соглядатаи, всюду свои люди. Донесли. Поймали меня неподалеку от монастыря, заковали — и в Москву, как самого опасного государева преступника. Я царю — как подарок. Если сознаюсь — конец Никону, что на наш приход да на зазывные речи не донес. Никона и так уже в крепость, в Кириллов монастырь, в строгость перевели. А мои показания были бы ему могильным камнем. Привезли меня в Москву, и тут случилось непредвиденное происшествие, которое к сегодняшнему дню имеет отношение.

## 11

Руки Сергию завязывали подле кистей веревками, обшитыми войлоком, ноги стягивали ремнями, и поднимали тело на воздух. Палач наступал ногой на конец ремня, тянул, разрывал тело, суставы выворачивались из рук, и потом палач бил по спине кнутом изредка, в час ударов тридцать, и от каждого удара будто ножом вырезана полоса. Разжигали железные клещи напрасно, хватали за ребра...

Старец Сергий от наветов отказывался. Фрола Разина, его признавшего, встретил глазами пустыми, а чернецам, которые его у бывшего патриарха Никона видели входящим и выходящим, противные слова говорил. Старец Сергий силен еще, но после пыток сдал, голова болталась, язык распух, и говорить он не мог.

Алексей Михайлович, мучаясь одышкой и страхами, перешел ночью из дворца в подвал Тайного приказа. Нес с собой бумажку, на которой собственной рукой записал вопросы для старца.

«За что вселенских Стенька побить хотел? Они по правде ли извергли Никона и что он им приказывал?» — повторял про себя государь слова записки. «О Кореле. Грамоту от него за Никоновой печатью к царскому величеству шлют из-за рубежа». Это о шведах. Шведы ненадежны, вредны, Котошихина, беглого бунтовщика, спрятали, печатные дворы держат, в курантах про вора Стеньку печатают и ложные известия о Никоне сообщают. Старец знать про это должен.

Дьяк Данило Полянский шел сзади, на полшага, держал свечу, чтобы государю не удариться головой о притолоку. В переходе было смрадно, вонюче, стрелец у дверей в пыточную засуетился, открывал, пятился, и оттого государю было еще тошней. Полянский сказывал, что старец Сергий молчит. Худо. А еще людишки, верные вроде, твердят, что Сергий не Сергий вовсе, не старец, а казачий полковник.

Ступеньки в подвал склизкие, грязные, могли бы и помыть, все-таки государь ходит, да не стал государь говорить Полянскому, твердил слова вопросов, и слова улетали, запутывались в разных тревожных мыслях, и горело внутри, пекло — видно, напустили порчу немчины, лекари. Горько было царю на людскую неблагодарность, на вражду, местничество, злобу, наветы.

— Лестницы бы вымыли, — сказал вдруг государь Полянскому, хотя говорить уже раздумал.

Мимо камор шли в пыточную. За решетками шевелились тени, бледные руки лезли из тряпья, и цепи звенели, будто отбивали зубную дробь.

Старец Сергий висел на дыбе безжизненно. Седые волосы, в грязи и крови, колтуном торчали вбок, будто боярский сын набекрень надел шапку. Подьячий, что вел допрос, вскочил из-за стола, но царь в его сторону не посмотрел. Подошел к Сергию, заглянул в лицо. Палач, чтобы удобнее государю было, шустро отбежал, отпустил веревку, и Сергий ногами стал на пол, только ноги пошли в сторону — не держали.

— Что сказал? — спросил царь, глядя на старца, столь нужного для спокойствия и торжества власти.

— Молчит, — ответил подьячий тихо. Боялся царского гнева.

Язык Сергия, распухший, черный, вылезал изо рта, не помещался. Глаза закатились — не закрывались.

— Мне он живой нужен, — произнес вдруг царь обыкновенно, будто без гнева, а с тоской.

И даже Полянский дрожь почувствовал. Тишайший государь был весьма озабочен, и это многим могло стоить жизни.

— Пусть поутру его дохтур осмотрит, зелье даст. И не пытать, пока сам не кончу.

Алмаза окатили водой, втащили бесчувственного в камору, кинули на пол. До утра дохтура звать не стали. Старик крепкий.

Алмазу казалось, что он в пустыне. Жарко и больно ногам, ободранным о камни. И озера лишь манят, а оказываются вихрями, бьющими по обожженной коже. Потом ласковая прохлада коснулась лба. Вода холодная — зубы ломило — сама влилась в рот. Стало легко и блаженно.

— Вам лучше? — спросил тихий нежный голос, будто прохлада в пустыне.

— Да, — ответил Алмаз. Открыл глаза.

В теле была боль, ломота, но была она не так важна, и голова стала ясней. Голос звучал где-то внутри, будто кто-то пальчиком гладил по темени. Рядом, на куче прелой соломы, лежал маленький человек, ниц распростершись, и касался исхудалыми руками Алмаза: во тьме зрачки его светились по-кошачьи.

— Нечистая сила, — сказал Алмаз. — Изыди...

— Тише, — произнес голос в голове у Алмаза. И рот у маленького человека не открывался, сжат был, губы в струночку. Только глаза зеленью светятся. — Тише, — голос покоил, нежил, — услышат — придут. Снова казнить примутся. Я добра желаю. Немощен я, измучен, ноги переломаны.

Темь в каморе стояла, но Алмаз увидал: ноги соседа на соломе распластались, неживы. Кровь изо рта запеклась на щеке. У Алмаза страх миновал. Язык тяжел, но ворочается.

— Пей, — беззвучно сказал сосед, протянул ладошку, а в ней вода, как на листе роса. Не было зла и порчи в малом человеке.

Алмаз наклонил голову, слизал росу.

— На дыбе был? — спросил сосед.

— Не жить мне, — отозвался Алмаз. — Сам государь поутру примется.

— Бунтовщик ты? Со Стенькой разбойничал?

— Неважно, — сказал Алмаз. Было в нем подозрение, не дьяками ли тайными человек подставлен.

— Не опасайся, — сказал человек. — Я твои мысли знаю. Считай, что дохтур я. Из фрязинской земли. В колдовстве меня обвинили. Огнем пытали, ноги ломали. Я секрет знаю, как уйти отсюда, да ног нет.

Алмаз долгую жизнь прожил, многого нагляделся. Дохтур так дохтур. На фрязинских землях, на немецких чудес много. И сам Алмаз до Индии ходил, Турцию видел, но в чудеса само собой верил.

— Ты мне о себе расскажи, — молил сосед. — Хоть не словами. Думай — я пойму.

Зеленоватые глаза заглядывали в душу, высматривали, что скрыл; а скрыл Алмаз в рассказе немногое, лишь то, что касалось патриарха Никона. Это пускай сосед читает сам — нечистой ли силой, просто колдовством.

Порой сосед просил повторить, подробности выспрашивал, интересовался, будто не обречен, как и Алмаз, на неминуемую смерть. Доволен оказался. Говорил, что надежда в нем появилась, повезло ему, что сосед Алмаз. Не надеялся уже, веру потерял. Смерть близка.

Бежать из Тайного приказа некуда, это Алмаз понимал. Никто отсюда не скрылся еще. Может, малый человек ума лишился? А может, слово знает?

— Нет, — возразил сосед. — Слова не знаю. Но вижу сквозь стены. Как ни пытай, не отвечу, не понять тебе.

Алмаз не спорил. Секретные и странные вещи признавал, но сам колдунов и тайных людей бежал. Может, и сквозь стены зрит человек. Дано ему.

— Здесь стена в одном месте тонка, — сообщил человек. — В один кирпич. Дверь заложена. В старые времена ход был в другое подземелье, но, видно, после пожара забыли, замуровали. Под Кремлем в разных местах ходы и подвалы вырыты, многие и не найдешь. Давно здесь государи живут, а государям надо тайны иметь, тайники и пыточные места.

За решеткой прошел стрелец. Заглянул в темноту, ничего не увидел. Окликнул:

— Старец Сергий, а старец Сергий, живой ты?

Алмаз промычал нераздельно, простонал.

— Живой, — определил стрелец. — С утра дохтура приведут. Равно как к боярину. — Стрелец рассмеялся. — Как к боярину, — повторил. Пошел дальше.

— Как же мы кирпичи разберем? — спросил Алмаз.

— Тише, не говори языком, — прозвучал как бы внутри головы голос соседа. — Ты думай, я все угадаю.

— Тяжко, привычки нет.

— Я кирпичи еще со вчера расшатал. Ты меня вытащишь, понесешь. Кирпичи на место положишь. Может, не сразу спохватятся.

— Согласен я, — сказал Алмаз, потому что был человеком трезвым и понимал: не убежишь ночью — новые пытки, а там и смерть, покажется она благостной, долгожданной, как невеста.

— Жди, — услышал он голос внутри.

Человек, опираясь на локти, поволочил безжизненное тело к дальней стене, и от боли его, что передавалась нечаянно Алмазу, мутило, ибо ложилась она на боль Алмаза.

— Сюда ползи, только не шуми, — был приказ оттуда. И Алмаз подобрался, рукой нащупал тело рядом. Тот подхватил руку, поднес к стене. Один кирпич уже вынут был. Второй шатался.

— Ты сильнее, — слышал Алмаз мысли. — Вынимай их. Раствор старый, крошится. Я перекладывать буду.

Снова прошел стрелец, топотал сапогами: озяб в подвале.

— Караула ждет, — объяснил ему сосед. — Думает о том, как бы согреться. Думает, что ты за ночь отойдешь, дохтура не надо будет. И тебе легче. Добрый человек.

Алмаз кивнул, согласился.

Алмаз кирпичи вынимал из стены, сосед перекладывал их в сторону. Ощупал дыру — узка, но пробраться можно. Сосед подтолкнул в спину: давай, мол, — угадал, о чем Алмаз подумал. Алмаз прополз в дыру. Оттуда шел холод и мрак, пыточные камеры Тайного приказа рядом с ним теплым раем казались. Руки уперлись в ледяную жижу. Плечи схватило болью, сил не было тело протащить. Человек сзади подталкивал, да был немощен, без пользы помогал. Свое дыхание Алмаз слышал — как отдается хрипом по длинному невидимому ходу, шумит, словно домовой в печи.

— Давай, давай еще, поднатужься, немного осталось. Там воля!..

Слова человека, уговоры в голосе стучали, как кровь, и Алмаз елозил руками по жиже, тянул непослушное тело свое, и оно перевесило, голова упала в вонь и лед, и от того прибавилось силы — от отвращения и жути. Отдохнул самую малость, выпростал из дыры ноги и приподнялся, чтобы лицо отвратить от жижи.

— Меня возьми, не забудь... — умолял человек.

Но Алмаз и не помышлял оставить в беде товарища, тот ему дорогу к воле показал, а Алмаз никогда людей не предавал. И видно, человек угадал его мысли, затих и ждал покорно, пока Алмаз, отдохнувши, протянет к нему в дыру руки и вытянет, немощного, бессильного, невесомого, в черный ход.

Адмаз поднялся во весь рост, морщась от боли и злобы на свои непослушные члены. Свод был низок, пришлось пригнуться, и холодные капли падали ожогами на израненную спину. Человека Алмаз взял на руки, словно младенца; на закорках нести не мог, хоть сподручней, — поротая спина саднила. Через несколько шагов переложил было под мышку, чтобы рукой одной впереди шарить. Да это и не нужно оказалось — человек подсказывал, куда идти, где поворачивать, словно кошка во тьме дорогу различал, и Алмаз уже не удивлялся — сил не было на думы: слушался, шел, спотыкался, скользил по грязи.

Прошли подземную палату, потолок вверх ушел, распрямиться можно. Рукой сбоку ощупал — ящики, ларцы, сундуки. Видно, богатства затерянные.

— Нет, — сказал человек, — это книги, столбцы, грамоты. Старые. От царя Ивана Васильича остались.

— Не слыхал, чтобы царь книгами баловался.

— Интересовался. Тут большие богатства спрятаны. Государственные тайны. Их многие уже ищут, да не найти. Ходы с земли не видны.

Далеко сзади, усиленный ходами, будто боевыми трубами, пришел шум, сбивался в кучу, разделялся на голоса.

— Нас хватились, — сообщил человек. — Теперь не найдут. Пока решатся в ходы сунуться да пока по ним проплутают, мы далеко будем.

...Вышли они населенным летучими мышами и крысами, полузаваленным мусором подземным ходом, что кончался на том берегу Москвы-реки, у Кадашевской слободы. Куча бревен да камни — все, что осталось от часовенки, — скрывали древний ход. Рассветало. Мальчишка гнал из ночного коней, а навстречу, чуть видная в тумане, шла баба с ведрами к озерку у Болота. Слева были сады, и там перекликались сторожа — берегли царское добро. Из тумана вылезали, словно копья, колокольни кадашевских церквей. Было мирно, и даже собаки не лаяли, не беспокоили людей в такую обычную ночь.

— Пойдем берегом, — сказал человек. — Знаю, где лодка.

Тут только Алмаз увидел толком спутника. Боль в нем, избитом и истерзанном, была великая. Сквозь рубище смотрели кровоподтеки и синяки, руки были исцарапаны, словно кто-то с них кожу сдергивал, да и на лике целы были одни глаза. Глаза под утренней синевой потеряли кошачий блеск и нутряной свет — были синими, словно воздух, и бездонными, и были в них мысль и мука.

— Ты уж потерпи, — попросил человек. — Донеси меня.

— Неужто, — отозвался Алмаз и даже улыбнулся: подумал, что и сам, видно, страшен и непотребен.

— Что правда, то правда, — подтвердил человек.

Алмаз уже привычно взял его под мышку — перебитые ноги болтались почти до земли, рассекали высокую прибрежную траву.

Лодка была в положенном месте. Человек снова прав. И весла, забытые либо нарочно оставленные, лежали в уключинах.

Через час добрались до леса, а там пролежали весь день, упрятав в камышах лодку.

Алмаз набрал ягод, сыроежек — поел; спутник от всего отказался, только пил воду, но не из реки, как Алмаз, а из своих ладоней, как в Тайном приказе, когда поил этой водой-росой своего соседа.

Потом снова они шли, обходили деревни, шли и ночью и лишь ко второму утру, чуть живые, добрались до яра, в котором стояло, прикрытое пожелтевшими ветками, нечто невиданное, схожее со стругом либо ковчегом, и Алмаз тогда оробел и лишился чувств от бессилия и конца пути.

Очнулся Алмаз внутри ковчега, на мягкой постели, при солнечном свете, хоть и был ковчег без окон. Был Алмаз гол и намазан снадобьями и зельями. Спутник его, в иное переодетый, ковылял вокруг на самодельных костылях, посмеивался тонкими губами, бормотал по-своему, был рад, уговаривал Алмаза, что он не нечистая сила, а странник. Но Алмаз слушал плохо, тяжко — его тело отказывалось жить и переносить такие муки, била его горячка, и разум мутился.

— Что ж, — услыхал он в последний раз, — придется прибегнуть к особым мерам.

Может, и так сказал странник — снова было забытье, словно глубокий сон, и во сне надо было удержаться за борт ладьи, а не удержишься — унесет волжская волна, ударит о крутой утес. Но Алмаз удержался, и, когда очнулся вновь, все в том же ковчеге, человек сказал ему:

— Опасался я, что сердце твое не выдержит. Но ты сильный человек, выдержало сердце.

Был человек уже без костылей, бегал резво. Видно, немало времени прошло.

— Нет, — улыбнулся он, опять мысль Алмаза угадал, — один день всего прошел. Погляди на себя.

Человек протянул Алмазу круглое зеркало, и на Алмаза глянуло молодое лицо, чем-то знакомое, чем-то чужое, и подумал сначала Алмаз, что это портрет, писаный лик, но человек все смеялся и велел в зеркало смотреть.

И тогда Алмаз понял, что стал молодым...

— ...Ну вот и все, — закончил старик и снова потянулся к пачке за папиросой. — Он улетел к своим. Я тогда понятия не имел, кто он такой, что такое, откуда. Объяснение воспринял для себя самое простое — дух, вернее всего, божий посланник. Оставил он мне все снадобья, которыми мне молодость вернул, взял с меня клятву, что тайну сохраню, ибо рано еще людям о таком знать. И улетел. Еще велел пользоваться зельем, ждать его, обещал через сто лет вернуться и меня обязательно найти. Я больше ста лет ждал. Не вернулся он. Может, что случилось. Может, прилетит еще. Один раз я нарушил его завет. Был в Симбирске, разыскал подругу свою Милицу и вернул ей молодость. А с тех пор как себя молодил, так и к ней приезжал, где бы она ни была. И все. Хотите казните меня за скрытность, хотите — хвалите. Но скоро триста лет будет, а ведь даже Милица по сей день не знала, почему с ней волшебство такое происходит. Думала, моя заслуга. А уж какая там...

Старик замолчал. Устал. Возвращались в двадцатый век слушатели, переглядывались, качали головами, и не было недоверия. Уж очень странная история. Да и зачем старику ночью рассказывать сказки людям, которые в сказки давно не верят.

Милица все дремала на кресле, кошка — на коленях. Голова склонилась к морщинистым рукам.

— Если так, то пришельцы — не миф, — произнес Стендаль.

Он первым нарушил тишину, что наступает после окончания длинного доклада, прежде чем слушатели соберутся с мыслями, начнут посылать на трибуну записки с вопросами.

— Ну что же теперь? Дадите мне выпить мою долю? — спросил старик. — Я все как на духу рассказал. Мне молодость не для шуток, для дела нужна. И за Милицу прошу. Она мне верит.

— Я и не спала, — проговорила вдруг Милица Федоровна. — И все, что Любезный друг здесь говорил, могу клятвенно подтвердить. Мы с Любезным другом монополию на напиток не желаем. Правда?

Старик кивнул.

— Может, кто-нибудь из присутствующих здесь дам и кавалеров захочет присоединиться к нам?

## 12

Человеку свойственно совершать ошибки. И раскаиваться в них.

И чем дольше он живет, тем больше накапливается этих ошибок и тем горше сознание того, что далеко не все из них можно исправить.

Как только человек осознает, что есть связь между причиной и следствием, он догадывается, что не надо было пожирать разом коробку шоколадных конфет, растянул бы удовольствие на два дня и живот бы не болел. Это ошибка еще дошкольная. А помните, как вы засиделись у телевизора, глядя уже известный мультфильм, не выучили стихотворение Некрасова, получили двойку и лишились похода в зоопарк. Казалось бы, пустяк, а помнишь об этом всю жизнь.

Дальше — хуже. Накапливается неисправимость глупых слов, легкомысленных поступков, упущенных возможностей и несостоявшихся свиданий. И в какой-то момент все эти ошибки складываются в жизнь, которая пошла по неверному пути.

А где тот перекресток, где тот поворот на жизненной дороге, после которого неправильное течение жизни стало необратимым? Где тот проклятый момент, после которого уже ничего нельзя исправить?

Некоторые даже и не догадываются, что совершили роковую ошибку, другие — догадываются, но смиряются и стараются отыскать утешение в том, что еще осталось. Но есть люди, которые всю жизнь маются, вновь и вновь возвращаясь к роковому моменту и втуне изыскивая возможность исправить неисправимое. Нелюбимая жена уже родила тебе троих сорванцов, а любимая, но покинутая Таня живет с ненавистным ей Васей, и вы лишь раскланиваетесь на улице, так и не простив друг друга. Друг Иванов, решивший плюнуть на теплое и спокойное место и шагнувший в новое, ненадежное дело, уже стал министром или академиком, а ты так и сидишь на этом теплом месте. По радио рассказывают о боксере Н., который только что с триумфом вернулся из дальней зарубежной поездки, ввергнув там в нокаут известного всем Билли Джонса, а ты вспоминаешь, как бросил боксерскую секцию, где подавал куда больше надежд, чем Н., бросил, потому что поленился ездить через весь город на двух трамваях.

И вот из всех жизненных разочарований и ошибок вырастают великие и пустые слова: «Если бы».

Вот если бы я женился на любимой, но не имевшей жилплощади Тане!

Вот если бы я вместе с другом Ивановым пожертвовал зарплатой и премиальными ради интересной работы!

Вот если бы я не бросил секцию бокса!

Вот если бы...

Миллион лет назад первый питекантроп превратился в человека. Прожил свою относительно короткую жизнь и перед смертью сказал:

— Вот если бы начать жизнь сначала...

С этого и пошло.

Короли и рыцари, епископы и землепашцы, писатели и художники — неустанно и безрезультатно твердили волшебные слова: «Если бы...»

По мере роста культурного уровня человечества оно изобрело буквы и начало писать книги. И если приглядеться к истории мировой литературы, окажется, что значительная часть ее посвящена той же проклятой проблеме: «Если бы...»

Некий доктор Фауст даже продал свою бессмертную душу ради молодости. А Дориан Грей возложил старение на собственный портрет. Если заглянуть поглубже, то окажется, что даже древний мифологический персонаж Гильгамеш занимался поисками эликсира молодости. И лишь чешский писатель Чапек эту проблему разрешил положительно, описав биографию дамы, которая, пользуясь средством Макропулоса, прожила, не старея, лет шестьсот. Но ведь это все художественная литература, фантастика, вымысел. А вот если бы... И представьте себе ситуацию. В небольшом городке поздним вечером нескольким самым обыкновенным людям, прожившим большую часть жизни и неудовлетворенным тем, как они ее прожили, предлагают воспользоваться случаем и начать все сначала.

Разумеется, никто, кроме наивного Грубина, всерьез слова старика не принял. Не было для этого никаких оснований. И, отвергнув нелепую возможность, улыбнувшись и глубоко вздохнув, наши герои готовы были уже разойтись по домам. Но никто не разошелся.

Это чепуха, подумал каждый. Это совершенно невероятная чепуха.

И именно крайняя нелепость чепухи сводила с ума. Если бы старик предложил, допустим, разгладить морщины на челе или излечить от гастрита, все бы поняли — простой знахарь, мошенник. Но ни один знахарь не посмеет предложить молодость. Даром, за компанию с ним. Никакого псевдонаучного объяснения, кроме дикой истории о космическом пришельце и царе Алексее Михайловиче, старик не предложил. И ни на чем не настаивал. Сам спешил принять.

И пока тикали минуты, пока люди старались переварить и как-то увязать со своим жизненным опытом происходящие события, в каждом просыпался и начинал стучаться, просясь на волю, проклятый вопрос: «А что, если бы...»

И была долгая пауза.

Ее прервал старик Алмаз. Неожиданно и даже громко он сказал:

— Итак, средство состоит из трех частей. Порошок у меня в кармане. Растворитель в бутылках, что я взял в музее. Добавки составляются из разных снадобий, и рецепт на это заключен в тетради.

Старик Алмаз взял тетрадь со стола и помахал ею как веером: становилось душно от многолюдного взволнованного дыхания.

Елена Сергеевна постукивала по столу ногтями, старалась разогнать внутреннее смятение, звон в ушах. Сквозь тугой, вязкий воздух пробился к ней внимательный взгляд. Подняла голову, встретилась глазами с Савичем и поняла, что он не ее видит, а видит сейчас Леночку Кастельскую, которую любил так неудачно. И Елена Сергеевна поняла, что Савич скажет «да». В нем это «если бы» ворошилось долгие годы, спать не давало.

Елена Сергеевна чуть перевела взгляд, посмотрела на Ванду Казимировну. Но странно, та смотрела не на мужа, а в синь за окном. Улыбалась своим потаенным мыслям. И Елена Сергеевна вспомнила, какой яркой, крепкой была Ванда, пока не расползлась от малоподвижной жизни и обильной пищи.

— Формально вы не имеете права на пользование находкой. Она — собственность музея, — сказал Миша Стендаль. — Тем более что вы совершили кражу. У государства.

— И это карается, — вмешался Удалов.

— Уже говорили, — сказала старуха Бакшт. — Не ведите себя как российские либералы. Они всегда много говорили в земстве и в дворянском собрании. Ничего из этого не получилось.

Елена Сергеевна пыталась угадать в старухе черты прекрасной персиянки, но, конечно, не угадала — старческая маска была надежна, крепка и непрозрачна.

— Нет, так не пойдет, — возразил Стендаль. — Необходимо подключить власти и общественные организации.

— Правильно, — согласился Удалов, недовольный тем, что его сравнили с царским либералом. — Что скажут в райкоме? В Академии наук? Потом уж в централизованном порядке будет распределение...

— Сколько времени это займет? — невежливо перебил его старик.

— Сколько надо.

— Год?

— Может, и год. Может, и два.

— Нельзя. У меня дела. Милице тоже ждать негоже. Помрет.

Милица прискорбно склонила голову, кивнула согласно.

— Чепуху говорите, товарищ Удалов, — вмешался Савич, которому хотелось верить в эликсир. — Вы что думаете, придете в райком или даже в Академию наук и скажете: в этой банке находится эликсир молодости, полученный одним вашим знакомым в семнадцатом веке от марсианского путешественника. А знаете, что вам скажут?

— Температуру скажут измерить! — хихикнула Шурочка Родионова. Вообще-то она молчала, робела, но тут представила себе Удалова с градусником и осмелилась.

— Если бы ко мне пришел такой человек, — сказал Савич, — я бы его постарался немедленно изолировать.

Удалов услышал слово «изолировать» и замолчал. Лучше промолчать. В любом случае он свое возражение высказал. Надо будет — вспомнят.

Грубин не удержался, вскочил, принялся шагать по комнате, перешагивая через ноги и стулья.

— Русские врачи, — сказал он, — прививали себе чуму. Умирали. В плохих условиях. Нам же никто умирать не предлагает. Зато перед наукой и человечеством можем оказаться героями.

Голос Грубина возвысился и оборвался. Он пальцами, рыжими от частого курения, старался застегнуть верхнюю пуговицу пиджака, скрыть голубую майку — ощущал разнобой между высокими словами и своим обликом.

— Это не смешно, — сказал Савич хмыкнувшему Удалову.

— К научным организациям мы обратиться не можем, — продолжал, собравшись с духом, Грубин. — Над нами начнут смеяться, если не хуже. Отказаться от опыта мы не имеем права. По крайней мере я не имею права. Откажемся — бутылки либо затеряются в музее, либо товарищ Алмаз Битый поставит опыт сам по себе, и мы ничего не узнаем.

— Если получится, — произнес Савич, которому хотелось верить, — то мы придем к ученым не с пустыми руками.

— С метриками и паспортами, — добавил Грубин, — в которых наш возраст не соответствует действительному.

— Кошмар какой-то! — сказала Ванда Казимировна. — А если это яд?

— Первым буду я, — ответил старик Алмаз.

— И я, — поддержала Милица Федоровна. — Для меня это не в первый раз.

— Мы никого не заставляем, — сказал Грубин. — Только желающие. Остальные будут контрольными.

— Разрешите мне, — поднял руку Миша Стендаль. — А что будет, если я соглашусь участвовать?

— Младенцем станешь, — сказала Шурочка Родионова. — И я тоже. Увезут нас в колясках.

— А действует сразу? — спросил Удалов. Он не хотел выделяться, но думал о возвращении домой, к супруге.

— Нет, действует не сразу, — объяснил Алмаз. — Действует по-разному, но пока организмом не впитается, несколько часов пройдет. К утру ясно станет. Каждый вернется к расцвету физической сущности. Потому молодым пользы нет. Только добро переводить.

Алмаз почувствовал, что общее мнение склоняется в его пользу. Человеческое любопытство, страсть к новому, проклятое «если бы», нежелание оказаться трусливее других — все эти причины способствовали стариковским идеям. И он поспешил поставить на середину стола бутыль, и велел Елене принести стаканы, другую посуду и ложку столовую, и еще спросил соли, обычной, мелкого помола, и мелу или извести, а сам листал тетрадь, вспоминал — спешил, пока кто-нибудь из людей не спохватился, не высказал насмешки, так как насмешка в таких случаях страшнее хулы и сомнения. Стоит кому-то решить, что сказочность затеи никак не вяжется с тихой комнатой и временем, в котором живут эти люди, и тогда отберут бутыли, отнесут их в музей, положат в сейф. А если так, погибнет дело, ради которого проделал Любезный друг столь долгий путь, да и жизнь его, от которой мало осталось, вскоре завершится. Этого допускать было нельзя, потому что старик, проживя на свете свои первые триста лет, только-только начал входить во вкус человеческого существования.

Пока шли приготовления и были они обыденны, как приготовления к чаю, начались тихие разговоры — по двое, по трое. Иногда раздавался смешок, но он был без издевки, нервный, подавленный.

Алмаз Федотович отсыпал в миску весь порошок, чтобы на всех хватило. Потом откупорил бутылки с растворителем, слил содержимое в одну, примерился и плеснул в миску темной жидкости. Начал столовой ложкой размешивать порошок, тщательно, деловито и умело, доставая рукой из кармана штанов пакетики и свертки.

— Это все добавки, — пояснил он, — купил в аптеке. Ничего сложного, даже аспирин есть — для усиления эффекта.

— Потом надо будет все зафиксировать для передачи ученым, — напомнил Грубин.

— Не забудем, — согласился старик, для которого общение с учеными оставалось далеким и не очень реальным. Одна мысль занимала его — только бы успеть приготовить все, выпить, а дальше как судьбе угодно.

— Лист бумаги попрошу, — сказал Грубин Елене Сергеевне. — Начнем запись опыта. Никто не возражает?

— Зачем это? — спросил Удалов.

— Передадим в компетентные органы.

— А если кто не желает?

— Тогда оставайтесь как есть. Нам наблюдатели тоже нужны.

Удалов хотел еще что-то сказать, но Грубин не дал ему слова — остановил поднятой ладонью, взял лист, шариковую ручку и написал крупными буквами: «12 июля 1979 года. Г. Великий Гусляр Вологодской области. Участники эксперимента по омоложению организма». Написал себя первым:

«1) Грубин Александр Евдокимович, 1935 года рождения».

Затем следовал старик Алмаз:

«2) Битый Алмаз Федотович, 1603 года рождения, 3) Бакшт Милица Федоровна».

— Вы когда родились?

— Пишите приблизительно, — сказала Милица Федоровна. — В паспорте написан 1872 год, но это неправда. Пишите — середина XVII века.

Грубин написал: «Середина XVII в.».

В действиях Грубина были уверенность, деловитость, и потому все без шуток, а как положено ответили на вопросы.

И таблица выглядела так: «4) Кастельская Елена Сергеевна, 1918 г. рожд., 5) Удалов Корнелий Иванович, 1933, 6) Савич Никита Николаевич, 1919, 7) Савич Ванда Казимировна, 1923, 8) Родионова Александра Николаевна, 1960, 9) Стендаль Михаил Артурович, 1956».

— Итого девять человек, — заключил Грубин. — Делю условно на две группы. Первая — те, кто участвует в эксперименте. Номера с первого по седьмой. Вторая — контрольная. Для сравнения.

— Простите, — сказал Миша. — Я тоже хочу попробовать.

— Количество эликсира ограниченно, — отрезал Грубин. — Я категорически возражаю.

В глазах Грубина зажегся священный огонь подвижника, свет Галилея и Бруно. Он руководил экспериментом, и Удалову очень хотелось оказаться в контрольной группе. Изменения в старом друге были непонятны и пугали.

— Вы готовы? — спросил Грубина Алмаз, поворачиваясь к нему всем телом и взмахивая листком как знаменем. — Можно разливать? — Старик сильно притомился от волнения и физических напряжений. Его заметно шатало.

— Помочь? — спросила Елена Сергеевна и, не дожидаясь ответа, разлила жидкость из миски по стаканам и чашкам. Семь сосудов стояли тесно посреди стола, и кто-то должен был первым протянуть руку.

Старик размашисто перекрестился, что противоречило научному эксперименту, но возражений не вызвало, провел рукой над скоплением чашек и выбрал себе голубую с золотым ободком.

— Ну, — сказал он, внимательно оглядев остальных, — с богом.

Зажмурился, вылил содержимое чашки в себя, и кадык от глотков заходил под дряблой кожей, а жидкость булькала. Потом поставил пустую чашку на стол, перевел дух, сказал хрипло:

— Хорошее зелье. Елена, воды дай — запить.

И сразу тишина в комнате, возникшая, когда старик взял чашку со стола, окончилась, все зашевелились и потянулись к столу, к стаканам, будто в них было налито шампанское...

## 13

Следующим поднял чашку Грубин. Понюхал, шевельнул ноздрями, покосился на часы. Старик поднес чашку Милице Федоровне, и та, кивнув, словно получила стакан обычной воды, стала пить маленькими осторожными глотками.

Грубин выпил быстро, почти залпом.

— Ну и как? — спросил Удалов. Он держал чашку здоровой рукой, на весу.

— Ничего особенного, — ответил Грубин. Поставил чашку на стол и тут же стал записывать, повторяя вслух: — Опыт начат в 23 часа 54 минуты. Порядок приема средства следующий. Номер один — Битый Алмаз, номер два — Бакшт Милица, номер три — Грубин Александр... — Он поднял голову и строго приказал другу: — Ну!

Удалов все не решался. Странное видение посетило его. Ему казалось, что он находится на большой площади, края которой теряются в тумане. Перед ним стоят бесконечным рядом старики и старухи — ветераны труда и войны, абхазские долгожители, пенсионеры из разных республик. И все эти люди глядят на Удалова с надеждой и настойчивостью. Тут же и Грубин, который медленно катит громадную бочку, стоящую на тележке. А Шурочка Родионова держит в руках поднос с небольшими рюмками. Серебряным черпаком Грубин разливает из бочки зелье по рюмочкам. Удалов берет рюмочки с подноса и медленно шествует вдоль строя стариков. Каждый пенсионер, получив рюмочку, говорит:

— Спасибо, товарищ Удалов.

И выпивает зелье.

Мгновенная трансформация происходит с выпившим. Разглаживаются морщины, выпрямляется стан, густеют волосы, и неистовым сверканием наполняются глаза. И вот уже молод пенсионер и готов к новым трудам и подвигам. Но еще много желающих впереди — тысячи и тысячи ждут приближения Корнелия. Рука немеет от усталости. А надо всех обеспечить зельем, потому что все достойны.

— Корнелий, — донесся, словно сквозь туман, голос Грубина. — Расплескаешь.

Корнелий пришел в себя. Рука с чашкой дрогнула и рискованно наклонилась. Удалов смущенно улыбнулся.

— Я задумался.

— О чем? Время идет.

— Надо Ксении отнести. А то как же получится — я молодой, а она в годах останется?

— Разберемся, — ответил Грубин. — Я тебя уже отметил. Как принявшего.

— Закусить бы, — попытался оттянуть пугающий момент Удалов, но понял — невозможно. И быстро выпил то, что было в чашке.

Зелье было горьковатым, невкусным, правда, на спиртовой основе.

Савич поднял чашку со стола и мысленно уговаривал Елену тоже выпить, не раздумать. И, не смея сказать о том вслух, не спускал с Елены взгляда.

Этот взгляд, разумеется, перехватила Ванда Казимировна, которая умела угадывать взгляды мужа. До того момента она сомневалась, участвовать ли в этом дурацком распитии, так как долгая хозяйственная деятельность научила ее не верить в чудеса. Но взгляд Савича выдал его с головой и родил сомнения. Скорее это были сомнения в собственном здравом смысле, который питался упорядоченностью вселенной. Но если вселенная допускает глупости в виде космических пришельцев, здравый смысл начинает шататься. История с зельем была невероятна, но в принципе не более невероятна, чем привоз в универмаг тысячи пар мексиканских сапог со шпорами. Поэтому проблема, стоявшая перед Вандой Казимировной, была лишь проблемой выбора: что опаснее — испортить себе желудок неизвестным пойлом или отдать в руки разлучницы Елены горячо любимого Савича, собственность не менее ценную, чем финский спальный гарнитур «Нельсон».

И Ванда Казимировна, морщась, выпила это пойло до дна, обогнав и Савича, и, уж конечно, Елену, которую она всегда обгоняла, а потом, уже победив и не глядя на них, пошла на кухню смыть водой неприятный привкус во рту.

— Ну, Лена, — произнес Савич негромко, потому что неловко было на виду у всех подгонять к молодости Елену Сергеевну, но на помощь неожиданно пришел старик Алмаз.

— Директорша, — сказал он добродушно, — неужели тебе не хочется снова по лужам пробежать, на траве поваляться? Молодая была, наверное, не сомневалась?

— Зачем все это? — спросила Елена Сергеевна, словно просыпаясь.

И тут все чуть не испортила простодушная Шурочка, которая воскликнула:

— Вы же мне подружкой будете, то есть ровесницей. Это так интересно.

И Елена Сергеевна отставила поднесенную было ко рту чашку.

— Я не так сказала? — испугалась Шурочка.

— Ты все правильно сказала.

— Елена Сергеевна, вы нас задерживаете, — напомнил Грубин.

— Уж полночь, — добавил Удалов. — Пустой бутылочки не найдется? Я бы Ксюше отлил.

Он поднялся и сам пошел на кухню, в дверях столкнулся с Вандой Казимировной. Та увидела, что и Савич, и Елена Сергеевна так и не выпили зелья.

— Никитушка, — удивилась Ванда Казимировна. — Ты что же, решил меня одну оставить? Ведь я тебя брошу. На что мне старик? — И засмеялась.

И тогда Савич отхлебнул, стараясь ни на кого не смотреть, словно совершал какое-то предательство. Профессионально отметил возможные компоненты снадобья и потому еще более разуверился в его действенности. И, может, не стал бы допивать, но тут увидел, что Алмаз крупными шагами подошел к Елене, сам взял ее чашку, поднес ей к губам, как маленькому ребенку. Вот-вот скажет: «За маму, за папу...» Вместо этого Алмаз произнес, улыбаясь почти лукаво:

— Выполни мою личную просьбу. Я ведь тоже хочу с тобой завтра на равных увидеться. Сделай милость, не откажи.

И был старик убедителен настолько, что Елена улыбнулась в ответ. В ее улыбке Савич увидел то, чего не заметил никто, — то давнее прошлое, ту легкость милого доброжелательства, умение согласиться на неприятное, чтобы другому было приятно. И Савич, видя, как Елена пьет зелье, с облегчением, камень с плеч, одним глотком допил, что было в чашке.

Вошел Удалов с пыльной бутылкой из-под фруктовой воды «Буратино», отлил туда зелья из кастрюли сколько оставалось. Начал затыкать бумажкой.

— Все, — проговорил Грубин. — Эксперимент закончен.

И тут заскрипели, зажужжали, готовясь к бою, старые настенные, темного дерева часы.

— Ноль ноль три, — сказал Грубин с последним ударом и занес свои слова на бумагу.

— Ура! — вдруг провозгласил Савич, ощутивший подъем сил. Он покосился на Ванду. Та только улыбнулась. — Ура!!! — опять крикнул Савич так громко, что Елена Сергеевна невольно шикнула на него:

— Потише, Ваню разбудишь.

От крика очнулась Бакштина кошка. Она дремала у ног хозяйки, старчески шмыгая носом. Кошка открыла глаза, один — голубой, другой — красный, метнулась между ног собравшихся и, чтобы вырваться, спастись, прыгнула вверх, плюхнулась на стол, заметалась по скатерти, опрокидывая пустые стаканы и чашки, толкнула бутыль с оставшейся жидкостью.

Бутыль рухнула на пол, сверкнула и разлетелась в зеленые осколки...

— Обормоты! — только и смог сказать старик. Кошка спрыгнула со стола, села рядом с лужей, поводя кончиком хвоста, а затем начала лакать черную жидкость.

— Все, — сказал Грубин и утерся рукавом пиджака.

— Как же теперь? — спросила Шурочка. — А нельзя восстановить?

— Если бы можно, все молодыми ходили бы, — ответил старик. — У нас такой техники еще нет.

— А по чему будете восстанавливать? — спросил Грубин Шурочку, будто она была во всем виновата. — По пробке?

— Тем более возрастет ваша ценность для науки, — сказал Миша Стендаль, защищая Шурочку. — Вас будут изучать в Москве.

Миша совсем разуверился в событиях. Даже кошка показалась ему частью большого розыгрыша.

— У вас порошок остался, — напомнил Грубин старику, без особой, правда, надежды.

— Порошок — дело второе, — ответил тот. — Одним порошком молод не будешь. Пошли, что ли? Утро уже скоро.

...Ночь завершалась. На востоке, в промежутке между колокольнями и домами, небо уже принялось светлеть, наливаться живой, прозрачной синевой, и звезды помельче таяли в этой синеве. По дворам звучно и гулко перекликались петухи, и уж совсем из фантастического далека, из-за реки, принесся звон колокольчика — выгоняли коров.

Предутренний сон города был крепок и безмятежен. Скрип калитки, тихие голоса не мешали сну, не прерывали его, а лишь подчеркивали его глубину.

Елена Сергеевна стояла у окна и слушала, как исчезали, удаляясь, звуки. Четкие каблучки Шурочки; неровная, будто рваная, поступь Грубина; почти не слышные шаги Милицы; звучное, долгое, как стариковский кашель, шарканье подошв Алмаза; деликатный, мягкий шаг Удалова; переплетение шагов Савича и его жены.

Шаги расходились в разные стороны, удалялись, глохли. Еще несколько минут, как отдаленный барабан, доносился постук стариковской палки. И — тихо. Предутренний сон города крепок и безмятежен.

## 14

Удалов поднял руку к звонку, но замешкался. Появилось опасение. Он покопался в карманах пижамы, раздобыл черный бумажник. В нем, в отдалении, лежало круглое зеркальце. Удалов подышал на зеркальце, потер его о штанину и долго себя разглядывал. Свет на лестнице был слабый, в пятнадцать свечей. Удалову казалось, что он заметно помолодел.

Удалов думал, дышал, возился у своей двери.

Жена Удалова, спавшая чутко и одиноко, пробудилась от шорохов и заподозрила злоумышленников. Она подошла босиком к двери, прислушалась и спросила в дверную скважину:

— Кто там?

Удалов от неожиданности уронил зеркальце.

— Я, — сказал он. Хотя сознаваться не хотелось.

— Кто «я»? — спросила жена. Она голоса мужа не узнала, полагая, что он надежно прикован к больничной койке.

— Корнелий, — ответил Удалов и смутился, будто ночью позволил себе побеспокоить чужих людей. В нем зародилась отчужденность от старого мира.

Жена охнула и раскрыла дверь. Тут же увидела на полу осколки зеркальца. Осколки блестели, как рассыпанное бриллиантовое ожерелье.

— Кто тебя провожал? — произнесла она строго. Она мужу не доверяла.

— Я сам. — Корнелий огорчился. — Плохая примета. Зеркало разбилось.

— Ты, значит, под утро стоишь себе на лестнице и смотришься в зеркало? Любуешься? Хорош гусь. А я тебе должна верить?

— Не кричи, пожалуйста, — сказал Удалов. — Максимку разбудишь.

— Максимка спит, наплакавшись без отца. Одна я...

Жена правдиво всхлипнула.

— Важное задание, — попытался остановить ее Удалов. — Меня даже из больницы выпустили. Опыт проводили.

— Опыт? Ночью? Предупреждала меня мама — за Корнелия не выходи! Намаешься! Не послушалась я, дура.

— Ксюша, дай в дом войти.

— Зачем тебе в дом? Нечего тебе дома делать.

— Опыт мы проводили. Уникальный опыт. Омолаживались.

— Значит, омолаживался?

— Я принял и тебе принес. Видишь? — Удалов здоровой рукой вытащил из кармана пижамы заткнутую бумажкой бутылку из-под фруктовой воды «Буратино».

— Издеваешься? — Чуткий нос Ксении уловил легкий запах спиртного, доносившийся то ли от Удалова, то ли от бутылки, в которой вздрагивала темная жидкость. — Я тебе ужин грею, в больницу бегу, переживаю, а он, видите ли, омолаживаться навострился. С кем омолаживался, мерзавец?

— Там целая группа была, — оправдывался Удалов громким шепотом. — Коллектив. Ты не всех знаешь. У Грубина спроси.

— И Грубин твой туда же! Ему что, его дело холостяцкое. А у тебя семья. — Ксения сделала паузу, которая вселила в Удалова надежду на прощение, но надежды оказались ложными: — Была семья, да нет!

И с этими словами Ксения хотела закрыть дверь. Удалов успел вставить ногу в шлепанце, чтобы осталась щель. Ноге было больно.

— Ксюша, — зашептал он быстро. — Ты тоже молодой станешь. Гарантирую. Марсианское средство. Мы в Москву поедем, на испытания.

Ксения ловко ударила носком по ноге Удалова, выбила преграду и захлопнула дверь. Дверь была нетолстая, и Удалов слышал сквозь нее, как громко дышит жена.

— Ксюша, — сказал он. — Если ты возражаешь, я без тебя в Москву поеду. Мне только переодеться.

Ксения всхлипнула.

— Пойми же, неудобно в пижаме в Академию наук.

— Академия наук! — В эти слова Ксения вложила все свое возмущение моральным падением Корнелия. — Туда только в пижаме и ходят!

— Еще не поздно, — гнул свое Удалов. — Мы будем бегать по лужам и плести венки, ты слышишь?

— Уйди! — загремел из-за двери голос Ксении. В нем было столько гнева, что Удалов понял — прощения не будет. — Уезжай с ней в Академию наук, на Черноморское побережье. Уходи, а то я так закричу, что весь дом проснется!

И Удалов, сжимая в руке бутылку с Ксюшиной долей зелья, быстро на цыпочках сбежал с лестницы. Он знал, что Ксения, скажи он еще слово, выполнит свою угрозу.

А Ксения, стоявшая, прижав к двери ухо, услышала, как удаляются шаги Корнелия. Кляня мужа, Ксения полагала, что он будет покорно стоять у двери. А он ушел. Значит, все ее подозрения были оправданны. И, задыхаясь от боли и обиды, она кинулась в комнату, растворила шкаф и стала выхватывать оттуда носильные вещи Корнелия. Потом отворила окно.

Удалов остановился в нерешительности.

Будь ситуация иной, он бы вел себя по правилам. Вымаливал прощение. Но жизнь изменилась, и в ней появились перспективы. Ксения этих перспектив не поняла и оказалась по большому счету недостойна молодости. «Ну и пожалуйста, — думал Удалов, — стану молодым, разведусь с Ксенией, сына отберу, будет он мне как младший брат. Снимем комнату, будем жить дружно, женимся. К примеру, на Шурочке Родионовой. Характер у нее хороший, мирный».

И в этот момент из окна второго этажа на него начали сыпаться вещи.

Удалову попало ботинком по голове. Белыми птицами летали рубашки, черным орлом спускался сверху пиджак, тускло сверкающим снарядом пролетел возле уха портфель и, не взорвавшись, ударился о траву. Копьем пронзила темноту любимая удочка...

Последним аккордом прозвучало рыдание Ксении. Хлопнуло, закрываясь, окно. Удалов был изгнан из дома. Навсегда.

Что-то надо было предпринять.

Удалов хотел было собрать с земли вещи, но мешала бутылка, зажатая в руке.

Выкидывать ее было неразумно. В ней находилось ценное лекарство. На спиртовой основе. Удалов подумал, что, когда раздавали чашки, ему вроде бы досталась самая маленькая. Он вытащил бумажную затычку и выпил зелье. Так надежнее.

Удалов выкинул бутылку в крапиву и негромко сказал:

— Тебе предлагали, ты отказалась, — имея в виду Ксению.

Затем собрал в охапку вещи, пиджак и брюки повесил на загипсованную руку и побрел со двора.

Рубикон был перейден. Но что за местность лежит за ним, было неизвестно.

Хотелось уйти подальше от дома, туда, где его поймут. К Грубину нельзя. Грубин будет смеяться. В больницу тоже нельзя, там Ксения подняла панику и будут неприятные разговоры. Оставалась Елена Сергеевна, бывшая учительница. Она все знает, она должна понять.

По голубой рассветной улице брел Корнелий Удалов в полосатой больничной пижаме. Он искал убежища.

## 15

Елена Сергеевна устроила Удалова в маленькой комнатке, где выросли ее дети, где сейчас спал Ваня. Она поставила ему раскладушку, и Удалов непрестанно благодарил ее, конфузился и не знал, куда деть развешанные на гипсовой руке носильные вещи.

За время бега по городу Удалов как-то забыл о надвигающемся омоложении. Он находился в состоянии восторженном и нервном, но причиной тому были, скорее всего, уход от жены и бессонная ночь.

— Я ничего, — говорил он. — Вы не беспокойтесь, мне одеяла не надо и простыни не надо, я по-солдатски, как Суворов. Вы сами идите спать, уже утро скоро. Я-то на бюллетене... Мне и подушки не надо.

А сам думал, что следовало бы захватить из дома простыни. Бог знает, сколько еще придется ночевать по чужим углам. Но и эта, казалось бы, печальная мысль наполняла его грудь щекотным чувством мужской свободы.

Елена Сергеевна не послушалась Удалова. Постелила простыню и дала одеяло, подушку с наволочкой. И ушла.

Удалов, лишь голова его коснулась подушки, заснул праведным сном и заливисто всхрапывал, отчего Елена Сергеевна заснуть никак не могла.

Елена Сергеевна понимала, что в ее жизни появилась возможность помолодеть. Физически помолодеть. Как умная и образованная женщина, она даже представляла себе, как это произойдет, что с ней случится. Очевидно, состав старика стимулирует работу желез внутренней секреции. Значит, в оптимальном варианте разгладятся морщины, усилится кровообращение и так далее. Елена Сергеевна старалась остаться на сугубо научной почве, обойтись без чудес и сомнительных марсиан. Но было страшно. Хотя бы потому, что диалектически каждому действию соответствует противодействие. За омоложение организму придется расплачиваться. Но чем? Не сократят ли любители экспериментов себе жизнь вместо того, чтобы продлить ее? Все-таки правильно, что медики сначала все опыты ставят на мышах.

Удалов разнообразно похрапывал и бормотал во сне. Кстати, когда произойдет омоложение? Старик сказал: проснетесь другими людьми. Мучителен ли этот процесс?

Елене Сергеевне захотелось убедиться в том, что еще ничего не произошло. Она босиком подошла к шкафу, зажгла лампу на столе рядом и присмотрелась. Никаких изменений. Правда, покраснели веки, но это потому, что день был долог и утомителен...

Елена Сергеевна потушила свет, вернулась на кровать. И постаралась заснуть. За окном уже почти рассвело, и часа через три проснется Ваня.

Ей показалось, что она так и не спала. На мгновение провалилась в темноту, а уже Ваня трясет ее за плечо:

— Баба, вставай!

Елена Сергеевна не открывала глаз. Знала, что Ваня сейчас протопает в сени, где стоит горшок, и засядет там минут на десять. За эти минуты надо окончательно проснуться, встать, накинуть халат и вымыться. И еще зажечь плиту.

Елена Сергеевна мысленно проделала все утренние дела, и тут же, по мере того как просыпался мозг, очнулись другие мысли, вылезли на поверхность.

Существовала необходимость посмотреть в зеркало. Подойти к шкафу и посмотреть в зеркало. Почему? Ах да, старик, сказочные истории, разбитая бутылка... Елена Сергеевна сбросила одеяло, села. Шкаф с зеркалом стоял неудобно, боком, зеркало казалось узкой щелью, голубой от неба, отраженного в нем.

Надо было встать и сделать два шага. И оказалось, что это трудно. Даже странно. И, глядя не отрываясь на голубую щель, Елена Сергеевна сделала эти два шага...

В том невероятном, даже ужасном, что произошло с Еленой Сергеевной, пока она спала, не было никакой науки, никакого ровным счетом гормонального воздействия. И не разглаживались морщины, и не усиливалось кровообращение. А было чудо, антинаучное, необъяснимое, от которого никуда не денешься и которое влечет за собой множество осложнений, неприятностей и тяжелых объяснений. Первой неприятностью, думала Елена Сергеевна, глядя в зеркало, узнавая себя, знакомясь с собой заново, станет встреча с Ваней, который в любой момент может выйти из сеней. Ребенок остался без бабушки. Кто она ему теперь? Мать? Нет, она слишком молода для матери. Сестра? Елена Сергеевна провела рукой по лицу, дивясь забытому ощущению свежести и нежности своей кожи.

Ваня вошел в комнату и подбежал к Елене Сергеевне. Остановился, положил медленно и задумчиво в рот палец и замер. Замерла и Елена Сергеевна. Она ощущала глубокий стыд перед внуком. Она мечтала о том, чтобы чудо кончилось и она проснулась. Это был тот сон, прерывать который очень жалко, но прервать необходимо для блага других. Елена Сергеевна больно ущипнула себя за ухо.

Ваня заметил ее движение и сказал, не вынимая пальца изо рта:

— Какая ты сегодня красивая, бабушка! Даже молодая. А чего щиплешься?

— Милый! — сказала Елена Сергеевна. — Узнал меня!

— Конечно, узнал, — басом ответил Ваня, — ты же в бабушкином халате.

Она схватила Ваню, прижала к себе — каким легким он стал за ночь! Подняла к потолку и закружилась с ним по комнате.

Ваня хохотал, радовался и, чтобы использовать бабушкино хорошее настроение, кричал сверху:

— Ты мне купи велосипед!.. Ты мне купишь велосипед?

Развевался в кружении старенький халат. Елена Сергеевна крепко и легко переступала сухими стройными ногами, пушистые молодые волосы закрывали глаза, взвихряясь от движения.

Опустив Ваню на пол, Елена Сергеевна вспомнила вдруг, что у нее в доме гость — Удалов. Спит еще, наверное, подумала она. Каков он? Елена осторожно приоткрыла дверь в маленькую комнату.

Кровать была смята. Одеяло свесилось на пол. Пиджак висел на спинке стула. Сброшенным коконом лежал на полу белый гипсовый цилиндр — оболочка сломанной руки.

Удалова не было.

## 16

Старуха Бакшт задремала, не раздеваясь, в кресле. Это было вредно в ее возрасте, но она не хотела упустить возвращение молодости. Она совсем запамятовала прошлое омоложение, а будет ли еще одно, не знала.

Дремота была нервной, с провалами, разрозненными снами и возвращением к полутьме комнаты, тусклой лампе под абажуром с кистями.

Беспокоилась кошка, царапала ширму...

Случилось все незаметно. Казалось, на минуту прикрыла глаза и в быстролетном кошмаре полетела вниз, к далекой земле, домикам с острыми крышами, открыла глаза, чтобы прервать страшный полет, и встретила в зеркале взгляд двадцатилетней красавицы Милицы. И было неудобно в тесном старушечьем платье. Жало в груди и в бедрах, и было стыдно за это платье и за собственную недавнюю старость.

— Господи, — сказала Милица Бакшт, — как я хороша!

И она одним прыжком — тело повиновалось, летело — достала дверь, накинула крючок, чтобы кто не вошел, и, торопясь, смеясь и плача, сдернула, разорвала старушечьи обноски, зашвырнула высокие, раздутые суставами ботинки за ширму, сорвала с волос нелепый чепец. И встала перед зеркалом, нагая, прекрасная.

Помолодевшая, неузнаваемая кошка вскочила на стол и тоже любовалась и собой, и хозяйкой.

Милица Федоровна Бакшт сказала ей тягучим, страстным шепотом:

— Вот такой любил меня Александр Сергеевич. Саша Пушкин.

Стало душно, и мешали устоявшиеся запахи. На цыпочках подбежала Милица к окну и растворила его. Взлетела пыль, и клочья желтой, ломкой бумаги, налепленной бог весть когда на рамы, бабочками-капустницами расселись по комнате. Скрип окна был слышен далеко по рассветному городу, но никто не проснулся и никто не увидел голубую от рассветного воздуха обнаженную красавицу в окне на втором этаже старого дома.

— «Я помню чудное мгновенье...» — пропела тихо Милица.

И замерла, ибо заглушенный чувствами и острыми ощущениями, но живучий голос старухи Бакшт проснулся в ней и обеспокоился, не простудится ли она с непривычки. Надо беречь себя. Еще столько лет впереди. Но беззаботная молодость взяла верх.

— Ничего, — сказала Милица самой себе. — Ничего со мной не случится. Мне же не сто лет. — Накинула халатик, засмеялась в голос и добавила: — Куда больше.

Захотелось есть. Где-то были коржики. Сухие уже. Милица распахнула буфет. Взвизгнула, возмутившись, дверь, привыкшая к деликатному обхождению.

С коржиком в кулаке красавица заснула, свернувшись клубком в мягком кресле. И не видела снов, потому что спала крепко и даже весело.

В ночь, описываемую в повести, все герои ее, как никогда прежде, ощутили власть зеркал. Верили они в то, что станут моложе, или относились к этому скептически, все равно старались от зеркал не отдаляться.

Грубин также извлек из-за шкафа зеркало, пыльное, сколотое на углу. Он зеркала презирал и никогда в них не смотрелся, даже при бритье и причесывании. Но все-таки Грубин был прежде всего исследователем, участником эксперимента и потому счел своим долгом этот эксперимент пронаблюдать.

До утра оставалось часа три, и следовало провести их на ногах, чтобы меньше клонило ко сну. Грубин подключил вечный двигатель к патефону — крутить ручку — и поставил пластинку. И патефон, и пластинки были старыми, добытыми на работе среди старья и утиля. Если бы не вечный двигатель, Грубин бы музыку и не слушал — уж очень утомительно прокручивать тугую патефонную ручку. Подбор пластинок также был случаен. Одна была старой и надтреснутой. На ней некогда популярные комики Бим и Бом рассказывали анекдоты. Про что, Грубин так и не узнал за шипением и треском. Была также песня «Из-за острова на стрежень» в исполнении Шаляпина, но без начала.

Под могучий бас певца Грубин принялся вырезать на рисовом зерне «Песнь о вещем Олеге». Он занимался этим натужным делом второй год и дошел лишь до третьей строфы. Он уже понял, что последним строкам места не хватит, но работу не прекращал, потому что был самолюбив и полагал себя способным превзойти любого умельца.

Работа шла медленно, под микроскопом. Грубин устал, но увлекся. Зеркало стояло прямо перед ним, чтобы можно было время от времени бросать на него взгляд в ожидании изменений.

В комнате было не шумно, но и не тихо. Приглушенно гремела пластинка. Грубин мурлыкал под нее различные песни, жужжала микродрель, ворон терся о скрипучую ножку стола, возились под кроватью мыши, сонно всплескивали золотые рыбки. Надвигался рассвет.

Грубин кончил изображать букву «х» в слове «волхвы», и тут что-то кольнуло в сердце, произошло мгновенное затуманивание сознания, дурнота. Почувствовав неладное, Грубин взглянул в зеркало. Он опоздал.

Он был уже молод. Худ по-прежнему, по-прежнему растрепан и дик глазами, но молод так, как не был уже лет двадцать пять.

— Дела... — сказал Грубин. — Волхвы проклятые...

Он был недоволен. Подготовленный эксперимент не удался.

Потом Грубин успокоился, пригляделся поближе и даже сам себе приглянулся.

— Так, — произнес он и уселся размышлять.

Грубин чувствовал себя сродни тому человеку, что выиграл по облигации десять тысяч рублей. Вот они, деньги, лежат, принесенные из сберкассы, толстая пачка из красных десятирублевок. Их слишком много, чтобы купить новый костюм или погасить задолженность по квартирной плате. Их так много, что вряд ли можно истратить сразу на какую-нибудь одну крайне ценную вещь. Правда, дома немало расходов, срочных и неотложных, на которые можно пустить часть выигрыша. Но в том-то и заключается психологическая каверза крутой суммы, что дробить ее на мелкие части унизительно и непристойно. Купить дом? Поехать в круиз вокруг Европы? А зачем новый дом? Зачем ему Европа? А что потом? И начинает охватывать безысходная жуть. Деньги давят, гнетут и порабощают свободного человека.

Двадцать пять лет жизни получил Грубин. Молодость получил Грубин. На что истратить эти свалившиеся с неба годы? Написать на рисовом зерне «Слово о полку Игореве»? И о том сообщат в журнале «Огонек»? Да, три года, пять лет можно истратить на такое занятие. И, только подумав об этом, Грубин ощутил всю его бессмысленность, да так явственно, что выхватил из-под микроскопа исписанное зернышко и метко запустил им в открытую форточку. И нет зернышка. Склюют его куры, не прочтя написанного стихотворения. Что делать?

Еще два часа назад Грубин, не обладая молодостью, мог рассуждать спокойно и мудро: если он получит эти годы, то потратит их на творческую изобретательскую деятельность. Не будет ничего менять в образе жизни, лишь удлинит ее.

А сейчас, поглядывая в зеркало на двадцатилетнего косматого молодого человека, Грубин осознавал, что преступно предоставить жизни течь по старому руслу. Если жизнь дается человеку дважды, надо начать ее сызнова. И начать красиво, гордо, с учетом всех совершенных когда-то ошибок. И подняться до высот. Правда, как он это сделает, Грубин не придумал, но томление, терзавшее его сердце, не позволяло дальше сидеть в пыльной комнате перед пыльным зеркалом. Надо действовать.

И Грубин начал свои действия с того, что открыл шкаф и вытащил оттуда чистую праздничную рубашку, запасную майку и полосатые носки. Одежда, употребляемая им ранее, казалась уже неприятной, а главное — нечистой. Удивительно, как Грубин мог не замечать этого раньше.

## 17

Савич проснулся не сразу.

Сон отступил, играя воображением. Чудилось, что он молод, крепок, строен и преследует по кустам кудрявую нимфу. Вот-вот он настигнет ее, пальцы уже дотронулись до атласной кожи. Нимфа оборачивается, совсем не страшась преследователя, даже улыбается и неожиданно для себя спотыкается о розовый куст, что позволяет Савичу дотянуться до ее плеч и схватить надежно, повелительно. Нимфа задыхается от беззвучного смеха, готова уже сдаться, и губы ее раскрываются для нежного поцелуя. Савич запутывает пальцы в густых кудрях нимфы и думает: на кого же похожа эта хозяйка сказочного леса? Ладно, потом разберемся, решает он и прижимает к себе трепещущее тело.

— Ай! — кричит нимфа пронзительно. — На помощь! Милиция!

И Савич немедленно проснулся.

Глаза его, открывшись, не сразу привыкли к рассветному полумраку в комнате, и потому ему показалось, что сон продолжается, потому что в его сильных руках билась, как золотая рыбка, прекрасная нимфа. Только дело происходило не в лесу, а в его собственной постели, что было еще удивительней.

— Оставьте меня! — кричала прекрасная нимфа знакомым голосом.

Разумеется, Савич, будучи человеком воспитанным и мягким, прекратил обнимать нимфу и постарался сообразить, что же происходит.

— Хулиган! — кричала нимфа, путаясь в одеяле и стараясь соскочить с широкой постели.

И Савич понял — кричит и волнуется его собственная жена Ванда Казимировна, директор универмага, помолодевшая лет на сорок.

Его рука совершила короткое путешествие к собственной голове и обнаружила, что голова покрыта густыми встрепанными волосами. И другая рука метнулась к животу и обнаружила, что толстого, мягкого живота нет, а есть на том месте впадина.

И Савич сразу все вспомнил и осознал.

— Ванда, — сказал он, схватив нимфу за локоть и стараясь не допустить, чтобы она в одной ночной рубашке бежала за милицией. — Вандочка, это я, Никита. Мы с тобой стали молодыми.

Нимфа еще продолжала вырываться, сопротивляться, но сопротивление на глазах теряло силу, потому что Ванда Казимировна была женщиной быстрого, решительного ума — иначе не удержишься на посту директора универмага.

Она оглянулась и присмотрелась к Никите.

Она узнала его.

Она протянула руку к зеркалу с ручкой, что лежало на тумбочке у кровати, и посмотрелась в него.

— Так, — сказала она медленно. — Значит, не врал старик.

Савич любовался ее гибким, упругим, плотным телом. Именно эта девушка, уверенная в себе, яркая и властная, заставила его забыть скромную Елену...

— Так, — повторила Ванда Казимировна, и изящным движением рыси, выходящей на охоту, она соскочила с кровати, пробежала, стуча босыми пятками, к окну и опустила плотную штору, что забыли опустить вчера, после волнений сумасшедшей ночи.

Стало почти совсем темно.

— Ты что? — спросил Савич. — Зачем?

— Никитушка, — послышался совсем близко страстный шепот, — мальчик мой.

Горячие руки нимфы обвили шею Савича, пылающее девичье тело прижалось к нему.

— Ну что ты... — сказал Савич, понимая, что сходит с ума от вспыхнувшей страсти. — Разве можно, так сразу...

## 18

Тщательно умытый холодной водой, с чищенными белыми зубами, в полосатых носках и свежей белой рубашке, шел Грубин по рассветным улицам Великого Гусляра и радовался прохладному воздуху, прозрачным облакам над рекой, гомону ранних птиц, скрипу телег, съезжавшихся на базар, и далекому гудку парохода.

Он не знал, куда и зачем идет. Он нес в себе секрет и радость, хотел поделиться ими с другими людьми, сделать нечто хорошее, что достойно отметило бы начало новой жизни.

Остановился у провала. Заглянул через загородку вглубь, в темноту, из которой возникла столь недавно его новая жизнь, и даже присвистнул, дивясь собственному везению. Не пошел бы Удалов в универмаг, не испугался бы одиночества, сидел бы Грубин сейчас дома и, ни о чем не подозревая, пилил бы себе «Песнь о вещем Олеге». Грубину даже гадко стало от мысли, что существуют люди, грабящие себя и человечество столь бездарным способом. И он пожалел на мгновение, что не выкинул заодно и микроскоп, но потом сообразил: микроскоп его может пригодиться для дела. Для настоящего дела.

Окно во втором этаже было распахнуто, и на подоконнике среди горшков с цветами сидела элегантная сиамская кошка и умывалась.

— Милая, — сказал ей Грубин, — уж не Бакштин ли ты зверь?

Тут Грубина посетила мысль о том, что чудесное превращение произошло не только с ним одним. Ведь этой же ночью помолодели и его друг Удалов (а как же с его женой?), и Елена Сергеевна, и старуха Бакшт, которой он помог доплестись ночью до дома. И сзади, вспомнил он, семенила старая сиамская кошка. Теперь на подоконнике сидит молодая сиамская кошка, и также с разными глазами. Маловероятно, что в Великом Гусляре есть две сиамские кошки с разными глазами, тем более в одном доме.

— Кис-кис... — позвал Грубин. — А где твоя хозяюшка?

Кошка ничего не ответила.

Грубин поискал, чем бы привлечь внимание старухи. Уж очень его терзало любопытство: что с нею произошло за ночь, сколько лет ей удалось скинуть? А вдруг на нее и не подействовало? Грубину стало искренне жаль бабушку, находящуюся на пороге смерти.

Грубин подошел к стенду с вчерашней газетой, оторвал пол-листа, свернул в тугой комок и сильно запустил в открытое окошко.

Кошка сиганула в ужасе с подоконника, задев горшок с настурциями, горшок свалился внутрь и произвел значительный шум.

— Ах! — вскрикнул кто-то в комнате.

Грубину стало неловко и захотелось убежать, и он сделал бы это, если бы в окне не показалась прелестная, сказочной красоты девушка. Длинные волосы цвета воронова крыла спадали волнами на ее плечи, глаза были огромны и лучезарны, нос прям и короток, губы полны и смешливы.

— Ах! — сказала девушка, увидав, что с улицы на нее восторженно глазеет косматый молодой человек в белой рубашке. Она смущенно запахнула старенький халатик и вдруг захохотала звонко, не боясь разбудить всю улицу. — Глупец... — смеялась она. — Этот горшок простоял сто лет. Но мне его не жалко. Вы же Грубин. Поспешите ко мне в гости, и мы будем пить кофе.

— Бегу, — ответил Грубин, сделал стойку на руках и на руках же пошел через улицу к двери, потому что у него были сильные руки и когда-то он имел первый разряд по гимнастике.

Милица угощала гостя соленьями, коржиками, повидлами — кушаньями вкусными, домашними, старушечьими. Забывала, где что лежит, и смеялась над собой. Многолетние запахи комнаты умчались в открытое окно, будто только того и ждали.

В комнате было солнечно и прохладно.

— Сначала выкину всю эту рухлядь, — говорила Милица. — Вы мне поможете, Александр Евдокимович? Я давно собиралась, но, когда так стара и немощна, приходится мириться с вещами. Они с тобой старились и с тобой умрут. Теперь все иначе. Я неблагодарная, да?

— Почему же? — удивился Грубин. — У меня вообще никогда вещей не было. А это правда, что Степан Разин вас чуть не кинул в реку?

— Не помню. Только по рассказам Любезного друга. Я думаю, что не стал бы.

— Наверное, не хотел, — сказал Грубин, стесняясь в присутствии такой красавицы своей неприглядности и лохматого вида. — Его казаки заставили.

— Ревновали, — поддержала его Милица.

Она, проходя по комнате, не забывала поглядеть в зеркало. Очень себе нравилась.

Грубин отчистил ногтем застарелое пятно на брюках, отхлебнул крепкого кофе из старинной чашечки и заел коржиком. Есть он тоже стеснялся, но очень хотелось. Милица, как ящерка, за столом усидеть не могла. Она вскакивала, поправляла что-то в комнате, составляла на пол горшки с цветами, потом распахнула комод и вывалила на пол платья, салопы, пальто, платки. На минуту комнату окутал нафталиновый чад, но его быстро вытянуло на улицу.

— Это выкинуть и это выкинуть, из этого еще что-то можно сделать. А когда откроются газетные киоски, вы мне купите модный журнал?

— Конечно, хоть сейчас пойду.

Грубина удивляло, что в Милице начисто нет прошлого. Будто она никогда не ходила в старухах. Сам он груз лет ощущал. Не сильно, но ощущал в душе. А Милица словно вчера родилась на свет.

— Я вам нравлюсь? — спросила она.

— Как? — Грубину давно никто не задавал таких вопросов.

— Я красивая? Я привлекательная женщина?

— Очень.

— Вы пейте кофе, я еще налью... Я за ширму пойду и примерю платье. Вы не возражаете?

Грубин не возражал. Он был в трансе, в загадочном сладком сне, в котором поят горячим кофе с коржиками.

Из-за ширмы Милица, роняя вещи и шурша материей, продолжала задавать вопросы:

— Александр Евдокимович, вы бывали в Москве?

— Вы меня Сашей зовите, — предложил Грубин. — А то неудобно.

— Очень мило, мне нравится этот современный стиль. А знаете, несмотря на то что мы с Александром Сергеевичем Пушкиным, поэтом, были очень близки, он всегда обращался ко мне по имени-отчеству. Интересно, правда? И вас тоже Сашей зовут.

Грубин мысленно проклял себя за невоспитанность. Даже не так поразился знакомству Милицы Федоровны, ибо знакомство было давним и ничего удивительного при ее возрасте и красоте в этом не было.

— Надо будет, Милица Федоровна, — сказал он официальным, несколько обиженным голосом, — пойти к Елене Сергеевне. Посоветоваться.

— Правильно, Сашенька, — засмеялась серебряным голосом из-за ширмы Милица. — А вы меня будете называть Милой? Мне так больше нравится. Ведь мы живем в двадцатом веке.

— Конечно, — ответил Грубин. Он продолжал еще обижаться, и это было приятно — обижаться на столь красивую женщину.

— Я только кое-что подгоню по себе. Ничего не годится, ну ровным счетом ничего. Потом поедем.

— Чего уж ехать. Десять минут пешком.

— А вы, Сашенька, инженер?

— Почему вы так решили? У меня образования не хватает. Я в конторе работаю.

Грубин говорил неправду, но эта неправда относилась к прошлому. Он знал, что с сегодняшнего дня он уже не руководит точкой по сбору вторичного сырья. Он скорее инженер, чем старьевщик. Прошлое было его личным делом. Ведь Мила тоже была старухой-домохозяйкой. А это ушло.

Милица вышла из-за ширмы, неся на руках платье. Она разложила его на столе, оттеснив Грубина на самый край, достала ножницы и задумалась.

— От моды я отстала. Придется будить Шурочку.

— Да, Шурочка, — вспомнил Грубин. — Она за вас обрадуется.

## 19

Грубин остановился за дверью Родионовых, позади Милицы. Та позвонила.

— Они рано встают. Я знаю, — сказала Милица.

— Вам кого? — спросила, открыв, женщина средних лет, чертами лица и голосом весьма схожая с Шурочкой, из тех женщин, что сохраняют стать и крепость тела на долгие годы и умеют рожать таких же крепких детей. Более того, отлично умеют с ними обращаться, не создавая лишнего шума, волнений и не опасаясь сквозняков.

За ней стояли двое парнишек, также схожих с Шурочкой чертами лица.

— Вы к Шурочке? — спросила женщина. — Из магазина?

— Здравствуйте, — произнесла весело Милица. — Вы меня не узнаете?

— Может, видела, — согласилась Шурочкина мать. — Заходите, чего в коридоре стоять. Шурка вчера под утро прибежала. Я на нее сердитая.

— Спасибо. Мы на минутку. — Милице было радостно, что ее не узнали.

— Ваша дочь здорова? — спросил из полутьмы коридора Грубин.

— А что с ней станется? Шура! К тебе пришли!

Женщина уплыла по коридору, и за ней, как утята, зашлепали Шурочкины братья.

— Она меня не узнала! — объявила торжественно Милица Федоровна. — А я только позавчера у нее соль занимала.

Шурочка, заспанная, сердитая после домашнего выговора, выглянула в коридор, приняла при плохом освещении Милицу за одну из своих подруг и спросила:

— Ты чего ни свет ни заря? Я еще не проснулась.

— Не узнала! — воскликнула Милица. — И мама твоя не узнала. А его узнаешь? Пойдите сюда, Сашенька.

Грубин неловко ухмыльнулся и переступил раза два длинными ногами.

— Мамочки мои родные! — ахнула Шурочка. — Товарищ Грубин! Неужели в самом деле подействовало?

— Как видите, — ответил Грубин и повернулся, медленно и нескладно, как у портного.

— А как остальные?

Шурочка говорила с Грубиным, а на Милицу даже не смотрела.

— Остальные? — Грубин хихикнул и подмигнул Милице. — Про всех не скажу, а вот одна твоя знакомая рядом стоит.

— Какая знакомая?

Шурочка наморщила лоб, поправила челку, приглядываясь пристально к Милице. Но все равно угадать не смогла.

— То ли меня разыгрываете, то ли я совсем дурой стала...

— Я твоя соседка, Бакшт, — прошептала Милица. — И ты мне нужна. Как сверстница.

— Ой, мамочки! — вырвалось у Шурочки. — Этого быть не может, я сейчас умру, если вы меня не разыгрываете.

— Полно, душечка, — сказала Милица. — У меня на стенке висят акварели. Я там очень похожа. Пошли, время не ждет. Надо уходить, а я без платья. Не в салопе же мне ходить по улицам. Мне придется сообразить что-нибудь из обносков.

— Чудеса, да и только, — говорила Шурочка. — Пойдемте на свет.

Тут она от волнения совсем перестала выговаривать знаки препинания.

— Мы сейчас у меня какое-нибудь платье возьмем, — предложила она, входя в комнату с Бакшт и подводя ее к окну, чтобы разглядеть получше. — Конечно это вы и я отсюда вижу что на акварели это тоже вы но с товарищем Грубиным меньше изменений теперь наука сделает громадный шаг вперед и стариков вообще не будет а с платьем мы что-нибудь придумаем мое возьмете вы тут подождите а я утащу одно наверное подойдет чего возиться только чтобы мама не увидела...

И Шурочка испарилась, исчезла, только слова ее еще витали несколько секунд в комнате.

— Ну вот, — сказала Милица. — Разве она не прелесть?

— Вы обе прелесть, — ответил Грубин, смутился и подошел к окну.

Он вдруг вспомнил, что Мила как-никак персидская княжна и была знакома с Александром Сергеевичем Пушкиным.

## 20

Савич сидел за столом, слушая, как щебечет Ванда. Он уже все осознал и готов был себя убить. И Ванду, разумеется, тоже. Не прожив и часа молодым, он уже изменил Елене вновь. И снова с Вандой. Как же это могло случиться?

Он же специально пил зелье для того, чтобы жизнь пошла по иному пути.

— Никитушка, — Ванда подкралась сзади и поцеловала его в затылок, — я так соскучилась по твоим кудрям, лет тридцать их не видала. Тебе кофе со сливками?

— Все равно, — сказал Савич.

— Сейчас гренки будут готовы. Ах ты мой донжуанчик! А я просыпаюсь — в кровати насильник. С ума можно сойти. А никому не расскажешь. Вот бы покойная мама смеялась!

Ванда носилась по комнате легко, как настоящая нимфа. Правда, теперь Савич уже понимал, что для нимфы она слишком крепка телом и широка в бедрах. Впрочем, кто их видел, этих нимф?

— Пей, мой мальчик. — Чашка кофе исходила ароматным паром, гренки были золотыми — и на них еще пузырилось масло. — Колбаски порезать?

«Какой нежной она может быть, — подумал Савич. — А я уже и забыл. Надо отдать Ванде должное, она меня любит. А какой стала Елена? Может, еще не поздно? Я ничего ей не скажу. В конце концов, ничего не произошло. Мы с Вандой официально расписаны, и она имеет право на супружеские отношения».

Оправдание было неубедительным.

Ванда уселась напротив, в халатике, волосы чернокрылой сумятицей над белым лбом, глаза сверкают, щеки розовые, словно намазаны румянами. И такая в ней была сила здоровья, такая бездна энергии... Глаза ее вдруг затуманились, грудь высоко поднялась, и голос стал низким и страстным.

— Мальчик мой, — произнесла она. — Иди ко мне...

«Съест, — подумал Савич, — ей только дай волю, она съест. А в моем возрасте это опасно для сердца. В каком возрасте? Что я несу?»

— Пора идти, — сказал Савич, стараясь не глядеть в глаза жены.

— Куда идти?

— К Елене Сергеевне. Ведь мы не одни были. С другими тоже произошло.

— А какое нам дело до других? — Ванда обежала стол, наклонилась над Савичем, губами щекотала ухо.

— Ванда, не сходи с ума, — остановил ее Савич. Так бы он сорок лет назад не сказал. Не имел жизненного опыта. — Мы с тобой в коллективе. В любую минуту они могут прийти сюда, чтобы проверить.

Ванда выпрямилась.

— Ой, Никитушка. Ты что имеешь в виду?

— Ты же понимаешь — надо осознать.

— Осознаю. К Елене спешишь?

— При чем тут Елена?

— А при том. Что я, не видела, как ты на нее вчера вечером глядел? Думал, я старой останусь, а вы с ней молоденькими — и сразу любовь закрутите. Что, разве не так? Я ваши шашни сразу раскусила.

— У меня таких мыслей и в помине не было.

Но слова прозвучали неубедительно. Савич был как школьник, отрицающий перед мамой очевидное прегрешение.

Ванда криво усмехнулась. Полные розовые губки сложились в презрительную гримасу.

— А я уж решила... я уж думала, что ты меня увидел и понял.

— Понял?

— Понял, что тебе от меня никуда не деться. Тогда я тебя почти не знала — девчонкой была. А сейчас я тебя как облупленного знаю. Не решишься ты ни на что. Даже если она красивее, чем раньше, стала.

— А чего я испугаюсь?

— Всего. Общественности. Моих когтей. Ответственности — всего испугаешься, мой зайчик.

— Ванда, ты забываешься. — Савич тоже поднялся: ему неудобно было спорить сидя. — Ты позволяешь себе инсинуации. Мы с тобой скоро сорок лет женаты, и я ни разу не давал тебе повода...

— Помолчи. Это я не давала тебе дать повод. И контроль над тобой стоил мне нервов и усилий. Каждую девочку в аптеке под контролем держала!

— Я и не подозревал, что ты так низко пала.

— Почему же низко? Я семью берегла. Я ведь тоже могла бы другого найти, получше тебя. Но я — человек твердый. Нашла — держу. Мужья, мой милый, на дороге не валяются. Их надо хранить и беречь. Даже таких паршивеньких, как ты...

— Ванда!

Слова жены были обидны. Но Савич со всем своим многолетним опытом общения с Вандой вдруг понял, что дальнейшая перепалка не в его пользу. Он может услышать о себе совсем неприятные слова — а кому это хочется слышать?

— В сущности, мы ничего с тобой не знаем, — сказал он. — Возможно, средство подействовало только на нас. А остальные остались...

— Вряд ли, — усомнилась Ванда, но такая версия ей понравилась.

Она тут же направилась к шкафу одеваться.

— Да, это было бы смешно, — предположила Ванда, доставая платье.

— Это было бы смешно, — невесело повторил Савич, глядя, как жена надевает платье.

Платье было безнадежно, невероятно велико. Но Ванда не сразу заметила это, а подойдя к трюмо, стала примерять рыжий парик, который обычно носила, чтобы прикрыть поредевшие и поседевшие волосы. Парик никак не налезал на пышные молодые волосы, и Савич спросил:

— Ванда, зачем ты это делаешь?

— Что делаю?

— Тебе парик не нужен. У тебя теперь свои волосы лучше.

— Ага, — сказала Ванда рассеянно, продолжая натягивать парик.

— Чепуха какая-то, — удивился Савич. — Свою красоту прятать.

— Не красоту, — ответила Ванда. — Красота при мне останется.

Савич тоже достал свой костюм и стал думать, как его подогнать, — он ведь на человека вдвое более толстого.

Ванда кинула на мужа взгляд и расхохоталась.

— Мы тебе, Никитушка, джинсы купим.

— А пока?

— Пока? — Но Ванда уже смотрела в зеркало, рассуждая, что делать с ее платьем. Потом предложила: — Может, тебе подушку подложить?

## 21

Уже собирались уходить, как Милица ахнула:

— Самое главное забыла!

Она вытащила из комода шкатулку, вытрясла из нее на стол всякую старую дребедень, среди дребедени отыскался толстый медный ключ.

— Сейчас будет сюрприз, — сказала она. — Господа, прошу следовать за мной.

Они пересекли двор и остановились перед вросшим в землю, покосившимся сараем, почти скрытым за кустами сирени.

— Сашенька, — попросила Милица, — откройте дверь. Я думаю, вам это будет очень интересно.

Грубин потрогал тяжелый ржавый замок. Замок лениво качнулся.

— Его давно не открывали? — спросил он.

— Как-то я сюда заглядывала, — ответила Милица. — После революции. Не помню уж зачем.

Ключ с трудом влез в скважину. Грубин нажал посильнее. Ключ повернулся.

— Не ожидал, — сказал Саша, вынимая дужку.

— Но он же был смазан, — сообщила Милица.

— А что там? — не выдержала Шурочка.

— Идите, — сказала Милица. — Я надеюсь, что все в порядке.

Саша Грубин шагнул внутрь. Поднялась пыль, закружилась в солнечных лучах. Темные углы сарая были завалены мешками и ящиками. Середину занимало нечто большое, как автомобильный контейнер, покрытое серым брезентом.

— Смелее, Саша, — велела Милица. — Я себя чувствую Дедом Морозом.

Брезент оказался легким, сухим. Он послушно сполз с невероятного сооружения — белого, с красными кожаными сиденьями автомобиля. Большие на спицах колеса, схожие с велосипедными, несли грациозное, созданное с полным презрением к аэродинамике, но с оглядкой на карету тело машины. Множество чуть потускневших бронзовых и позолоченных деталей придавало машине совсем уж неправдоподобное ощущение старинного канделябра.

— Ой! — Шурочка прижала руки к груди. — Что это такое?

— Мой последний супруг, — сообщила Милица, — присяжный поверенный Бакшт, выписал мне это из Парижа. А полицейский исправник страшно возражал, потому что все свиньи и обыватели боялись. Даже у губернатора такого не было.

— Она бензиновая? — спросил Грубин, не в силах оторвать взора от совершенства нелепых линий этого мастодонта автомобильной истории.

— Нет. Вы видите этот котел? Он паровой. А сюда нужно класть дрова. У меня они есть, вон в том углу.

— Паровоз? — спросила Шурочка.

— И вы думаете, что она поедет? — спросил Грубин. — Она не поедет.

Ему очень хотелось, чтобы машина поехала.

— Сашенька, я пригласила вас сюда, — объяснила Милица, — именно потому, что вы единственный талант из моих знакомых. Я не ошибаюсь в людях.

— Да, Саша, — поддержала Милицу Шурочка, — у Милицы Федоровны большой жизненный опыт.

— Глупенькая, — сказала прекрасная персидская княжна, — при чем здесь жизненный опыт? Разве хоть одну женщину любили за жизненный опыт?

— Но ведь любовь — это не главное?

— Милая моя девочка, вы еще слишком мало прожили, чтобы так говорить. Сначала столкнитесь с любовью по-настоящему, а потом делайте выводы. Я убеждена, что лет через сто вы меня поймете. — И Милица рассмеялась, словно зазвенели колокольчики.

Грубин даже задохнулся от этого серебряного смеха.

— Трудитесь, Саша, — напомнила, отсмеявшись, Милица.

И Грубин продолжал трудиться. Он выяснил, как работает машина, загрузил котел, положил под него хорошо просохшие за сто лет поленца, разжег их, залил котел водой. Вскоре из высокой медной позолоченной трубы пыхнуло дымом, и еще через несколько минут старая, но совсем не состарившаяся паровая машина господина Бакшта медленно выехала из сарая. Девушки принялись протирать тряпками ее металлические части.

В багажном отделении Милица обнаружила черный цилиндр, который водрузила на голову Грубину, и деревянный ящик с дуэльными пистолетами, хищными и красивыми, как пантеры.

— Спрячьте их, — испугалась Шурочка. — А то они выстрелят.

— Они слишком стары, чтобы стрелять, — сказала Милица. — К тому же мой муж никогда их не заряжал.

— Вы не знаете, — настаивала Шурочка. — Если в первом действии на стене висит ружье, то в четвертом оно обязательно выстрелит.

— Ах, помню, — улыбнулась Милица. — Мне об этом говорил Чехов.

И Шурочка совсем не удивилась.

## 22

Елена Сергеевна убрала за ухо светлую прядь, прищурилась и отсыпала в кастрюлю ровно полстакана манки из синей квадратной банки с надписью «Сахар». Молоко вздыбилось, будто крупа жестоко обожгла его. Но Елена Сергеевна успела взболтнуть кашу серебряной ложкой, которую держала наготове.

Движения были вчерашними, привычными, и любопытно было глядеть на собственные руки. Они были знакомыми и чужими.

— Не нужна мне твоя каша, — сказал по привычке Ваня. — Ты посолить забыла, баба.

— А я и в самом деле забыла посолить, — засмеялась Елена Сергеевна.

В дверь постучали. Вошел незнакомый молодой человек большого роста. Он наполнял пиджак так туго, что в рукавах прорисовывались бицепсы и пуговицы с трудом удерживались в петлях.

— Простите, — произнес он знакомым глуховатым голосом. — Извините великодушно. У вас не заперто, и я себе позволил вторгнуться. Утро доброе.

Он по-хозяйски присел за стол, отодвинул масленку и сказал:

— Чайку бы, Елена.

Елене Сергеевне пришлось несколько минут вглядываться в лицо гостя, прежде чем она догадалась, что это Алмаз Битый.

— Угадала? — спросил Алмаз. Он где-то раздобыл новые полуботинки и джинсы. — Как сказал, так и вышло. Проснулась и себя не узнала. И хороша, ей-богу, хороша. Не так хороша, как моя Милица, но пригожа. Теперь замуж тебя отдадим.

— Не шутите, — сказала Елена Сергеевна, указывая на замершего в изумлении Ваню. — В моем возрасте...

Алмаз засмеялся.

На улице послышался странный рокот. Заскрипели тормоза, закрякал клаксон.

— Есть кто живой? — спросила, заглядывая в окно, чернокудрая красавица. — Ой, да вас не узнать! Мы к вам в гости. И на автомобиле.

## 23

— Вот и Милица! — произнес Алмаз, легко поднимаясь из-за стола. — Я же говорил, что хороша. Правда, Елена?

Елена не ответила. Среди вошедших увидала молодого Савича, и было это еще невероятнее собственной молодости. Будто уходил Никитка всего на неделю, не больше, была пустая размолвка и кончилась.

Вокруг, как на школьном балу, мелькали и дергались смеющиеся лица. Ванда хохотала громче других, притопывала, будто хотела пойти в пляс.

Грубин схватил Елену за руку, показывал другим, как свою невесту, уговаривал Шурочку познакомиться с бывшей учительницей, а Шурочка конфузилась, потому что знала — прочие куда старше ее и солиднее, просто сейчас притворяются равными ее возрасту.

Савич замер в углу, пялил глаза и шевелил губами, словно повторял: «Средь шумного бала, случайно...» И когда Алмаз, подойдя к Елене, положил ей руку на плечо, Никита сморщился, как от зубной боли.

Елена заметила и улыбнулась.

— Я тебя, Лена, такой отлично помню, — сказала Ванда.

— И я тебя, — согласилась Елена. И подумала, что у Ванды склонность к полноте.

«Пройдет несколько лет — растолстеет, расплывется, станет сварливой... Ну и чепуха в голову лезет, — оборвала себя Елена. — Она же теперь все знает, будет следить за собой».

— Я тебе чай помогу поставить. Буду за мужика в доме, — предложил Алмаз.

— Хорошо, — согласилась Елена. Мелькнуло желание, чтобы вызвался помочь ей Савич.

Никита и вправду сделал движение к ней, но тут же кинул взгляд на Ванду, остался. Привычки, приобретенные за тридцать лет, были сильнее воспоминаний.

«Ну и бог с тобой, — подумала Елена, выходя в сени. — Всегда ты был тряпкой и, сколько ни дай тебе жизней, тряпкой и останешься. И не нужен ты мне. Просто удивилась в первую минуту, как увидела».

Ваня помогал Елене с Алмазом разжечь самовар, задавал вопросы, почему все сегодня такие молодые и веселые.

Алмаз удивлялся, как ребенок всех узнал. Даже в прекрасной персидской княжне — старуху Милицу. Алмаз нравился Ване своими сказочными размерами и серьезным к нему, Ване, отношением.

Вежливо постучался и вошел в дом Миша Стендаль. Он был приглажен, респектабелен и немного похож на молодого Грибоедова, пришедшего просить руку княжны Чавчавадзе.

— Елена Сергеевна дома? — спросил он Елену Сергеевну.

Ваня восхитился невежеством гостя, ткнул пальцем бабушку в бедро и сказал:

— Дурак, бабу не узнал.

— Сенсация, — огорчился тихо Стендаль. — Сенсация века.

Он схватился за переносицу, будто хотел снять грибоедовское пенсне.

— Ох-хо! — рявкнул Алмаз. — Разве это сенсация? Вот в той комнате сенсация!

Стендаль поглядел на Алмаза как на отца Нины Чавчавадзе, давшего согласие на брак дочери с русским драматургом.

— И вы тоже? — спросил он.

— И я тоже. Иди-иди. И Шурочка там.

— А я камеру не взял, — огорчился Стендаль. — Вам уже сколько лет?

— Шура! — гаркнул Алмаз. — К тебе молодой человек!

Миша отступил к двери и приоткрыл ее. И сразу в кухню ворвался разноцветный водопад звуков. Мишу встретили как запоздавшего дорогого гостя на вечере встречи однокашников.

— Молодой человек! Молодой человек! — хохотала Милица. — Маска, я тебя знаю, теперь угадай, кто я.

— Покормить нас надо, — сказал Алмаз, прикрывая дверь за Мишей. — Такая орава... Картошка у тебя, Елена, есть?

— Сейчас принесу, — отозвалась Елена.

— Я сам, — сказал Алмаз. — Во мне сила играет.

Он достал из чулана мешок и выжал его раза три как гирю, отчего Ваня зашелся в восторге.

Алмаз заглянул в большую комнату, прервал на минутку веселье, скомандовав:

— Михаил, возьми вот десятку и сходи, будь ласков, в магазин. Купишь колбасы и так далее к чаю. Остальным вроде бы не стоит излишне по улицам бродить. Чтобы без этой, без сенсации.

— Я с тобой пойду, — сказала Шурочка. — Ты что-нибудь не то купишь. Мужчины всегда не то покупают.

Грубин протянул Мише еще одну десятку.

— Щедрее покупай, — велел он. — «Белую головку», может, возьмешь. Все-таки праздник.

— Ни в коем случае, — сказала Шурочка. — Я уж прослежу, чтобы без этого.

В голосе ее прозвучали сухие, наверное, подслушанные неоднократно материнские интонации.

— Возьмите шампанского, — велела Елена Сергеевна.

— У меня есть деньги, — сказал Миша Грубину. — Не надо.

Шурочка с Мишей ушли, забрав все хозяйственные сумки, что нашлись в доме. Алмаз очистил картошку споро и привычно.

— Где вы так научились? — спросила Елена Сергеевна. — В армии?

— У меня была трудная жизнь. Как-нибудь расскажу. Где только я картошку не чистил.

Елене Сергеевне показалось, что за дверью засмеялся Савич.

Дверь на улицу была полуоткрыта. Шурочка с Мишей, убегая, не захлопнули. В щель проникали солнечные лучи, косым прямоугольником ложились на пол, и Елена отчетливо видела каждую щербинку на половицах.

Залетевшая с улицы оса кружилась, поблескивая крыльями, у самой двери, будто решала, углубиться ли ей в полутьму кухни или не стоит.

Вдруг оса взмыла вверх и пропала. Ее испугало движение за дверью. Освещенный прямоугольник на полу расширился, и солнце добралось до ног Елены.

В двери обозначился маленький силуэт. Против солнца никак не разглядишь, кто это пришел. Елена Сергеевна решила было, что кто-то из соседских детей, хотела подойти и не пустить в дом — ведь не было еще договорено, как вести себя.

Маленькая фигурка решительно шагнула от двери внутрь, солнце зазолотило на миг светлый мальчишеский хохолок на затылке. Ребенок сделал еще шаг и, вдруг размахнувшись, по-футбольному наподдал ногой в большом башмаке ведро с чищеной картошкой. Ведро опрокинулось. Наводнением хлынула по полу вода, утекая в щели. Картофелины покатились по углам.

— Как я тебе сейчас! — сказал угрожающе Ваня. Но вошедший мальчик его не слушал. Он бегал по кухне и давил башмаками картофелины. Те с хрустом и скрипом лопались, превращались в белую кашу. Мальчик при этом озлобленно плакал, и, когда он попадал под солнечный луч, уши его малиновели.

— Кто отвечать будет? — вскрикивал мальчик, пытаясь говорить басом. — Кто отвечать будет?

Алмаз медленно поднялся во весь свой двухметровый рост, не спеша, точно и ловко протянул руку, взял ребенка за шиворот, поднял повыше и поднес к свету. Ребенок сучил башмаками и монотонно визжал.

— Поди-ка сюда, Елена, — позвал Алмаз, поворачивая пальцем свободной руки личико мальчика к солнцу. — Присмотрись.

Мальчик зашелся от плача, из широко открытого рта выскакивали отдельные невнятные, скорбные звуки, и розовый язычок мелко бился о зубы.

— Узнаешь? — спросил Алмаз. И когда Елена отрицательно покачала головой, сказал: — Прямо скандал получается. То ли я дозу не рассчитал, то ли организм у него особенный.

— Это Удалов? — предположила Елена, начиная угадывать в белобрысой головке тугое, щекастое мужское лицо.

— А кто отвечать будет? — бормотал мальчик, вертясь в руке Алмаза.

— Вы Корнелий? — спросила Елена, и вдруг ей стало смешно. Чтобы не рассмеяться некстати над человеческим горем, она закашлялась, прикрыла рукой лицо.

— Не узнаете? — плакал мальчик. — Меня теперь мать родная не узнает. Отпусти на пол, а то получишь! Кто отвечать будет? Я в милицию пойду!

Гнев мальчика был не страшен — уж очень тонка шея и велики полупрозрачные под солнцем уши.

— Грубин! — крикнул Алмаз. — Где твой гроссбух? Записать надо.

— Это жестоко, Алмаз Федотович, — сказала Елена.

Грубин уже вошел. Стоял сзади. Вслед за ним, не согнав еще улыбок с лиц, вбежали остальные. И Удалов взрыдал, увидев, насколько молоды и здоровы все они.

— Не повезло Корнелию, — оценил Грубин.

Когда Корнелий говорил, что пойдет в милицию, угроза его не была пустой. В милицию он уже ходил.

## 24

Удалов проснулся оттого, что в глаз попал солнечный луч, проник сквозь сомкнутое веко, вселил тревогу и беспокойство.

Он открыл глаза и некоторое время лежал недвижно, глядел в требующий побелки потолок, пытался сообразить, где он, что с ним. Потом, будто кинолента прокрутилась назад, вспомнил прошлое — от прихода к Елене Сергеевне к ссоре с женой, рассказу старика и злосчастному провалу.

Он повернулся на бок, раскладушка скрипнула, зашаталась.

В углу, у кафельной печи, на маленькой кровати посапывал мальчик Ваня.

Удалов приподнял загипсованную руку, и, к его удивлению, гипс легко слетел с нее и упал на пол. Рука была маленькой. Тонкой! Детской! Немощной!

Сначала это показалось сном. Удалов зажмурился и приоткрыл глаза снова, медленно, уговаривая себя не верить снам. Рука была на месте, такая же маленькая.

Удалов спрыгнул на пол, еле удержался на ногах. Со стороны могло показаться — он исполняет дикий танец: подносит к глазам и бросает в стороны руки и ноги, ощупывает конечности и тело и при том беззвучно завывает.

На самом деле Удалову было не до танцев — таким странным и нервным способом он осознавал трагедию, происшедшую с ним за ночь по вине старика и прочей компании.

Ваня забормотал во сне, и Корнелий в ужасе замер на одной ноге. Удаловым внезапно завладел страх, желание вырваться из замкнутого пространства, где его могут увидеть, удивиться, обнаружив вместо солидного мужчины белобрысого мальчика лет восьми. Разобраться можно будет после...

Детскому, неразвитому тельцу было зябко в спадающей с плеч майке и пижамных штанах, которые приходилось придерживать рукой, чтобы не потерять.

Удалов выгреб из-под кровати ботинки и утопил в них ноги. Ботинки были не в подъем тяжелы, и пришлось обмотать концы шнурков под коленками. Хуже всего было с полосатыми штанами. Подгибай их, не подгибай — они слишком обширны и смешны...

Чувство полного одиночества в этом мире овладело Корнелием.

Вновь зашебаршился в постельке Ваня. За стеной вздохнула во сне Кастельская.

Удалов подставил стул к окну, переполз на животе подоконник и ухнул в бурьян под окном...

Удалов долго и бесцельно брел по пустым, прохладным рассветным улицам Гусляра. Когда его обгоняли грузовики или автобусы, прижимался к заборам, нырял в подъезды, калитки. Особо избегал пешеходов. Мысли были туманными, злыми и неконкретными. Надо было кого-то привлечь, чтобы кто-то ответил и прекратил издевательство.

Наконец Удалов укрылся в сквере у церкви Параскевы Пятницы, в которой помещался районный архив. Он отдышался. Он сидел под кустами, невидный с улицы, и старался продумать образ действий. Проснувшиеся с солнцем трудолюбивые насекомые жужжали над ним и доверчиво садились на плечи и голову. Которых мог, Удалов давил. И думал.

Низко пролетел рейсовый «Ан-2» на Вологду. Проехала с базара плохо смазанная телега — в мешках шевелились, повизгивали поросята.

Удалов думал. Можно было вернуться к Елене Сергеевне и пригрозить разоблачением. А вдруг они откажутся его признать? Было ли все подстроено? А если так, то зачем? Значит, был подстроен и провал? С далеко идущими целями? А может, все это — часть громадного заговора с участием марсиан? Началось с Удалова, а там начнут превращать в детей районных и даже областных работников, может, доберутся и до центральных органов? Если пригрозить разоблачением, они отрекутся или даже уничтожат нежелательного свидетеля. Кто будет разыскивать мальчика, у которого нет родителей и прописки? Ведь жена Ксения откажется угадать в нем супруга. Может, все же побежать в милицию? В таком виде?.. Вопросов было много, а ответов на них пока не было.

Удалов прихлопнул подлетевшую близко пчелу, и та перед смертью успела вогнать в ладонь жало. Ладонь распухла. Боль, передвигаясь по нервным волоконцам, достигла мозга и превратилась на пути в слепой гнев. Гнев лишил возможности рассуждать и привел к решению неразумному, срочно сообщить куда следует, ударить в набат. Тогда они попляшут! У Удалова отняли самое дорогое — тело, которое придется нагуливать много лет, проходя унизительные и тоскливые ступеньки отрочества и юности.

Удалов резко поднялся, и пижамные штаны спали на землю. Он наклонился, чтобы подобрать их, и увидел, что по дорожке, совсем рядом, идет мальчик его же возраста, с оттопыренными ушами и кнопочным носом. На мальчике были синие штанишки до колен на синих помочах, в руках сачок для ловли насекомых. Мальчик был удивительно знаком.

Мальчик был Максимкой, родным сыном Корнелия Удалова.

— Максим! — сказал Удалов властно. — Поди-ка сюда.

Голос предал Удалова — он был не властным. Он был тонким.

Максимка удивился и остановился.

— Поди-ка сюда, — повторил Удалов-старший. Мальчик не видел отца за кустами, но в зовущем голосе звучали взрослые интонации, которых он не посмел ослушаться. Оробев, Максимка сделал шаг к кустам.

Удалов вытянул руку навстречу сыну, ухватился за торчащий конец сачка и, перебирая руками по древку (ладонь болела и саднила), приблизился к мальчику, будто взобрался по канату.

— Ты чего здесь в такую рань делаешь? — спросил он, лишив сына возможности убежать.

— Бабочек ловить пошел, — ответил Максимка.

Если бы при этой сцене присутствовал сторонний наблюдатель, могущий при этом воспарить в воздухе, он увидел бы, как схожи дети, держащиеся за концы сачка.

Но наблюдателей не было.

— А мать где?

В душе Удалова проснулись семейные чувства. В воздухе ему чудился аромат утреннего кофе и шипение яичницы.

— Мать плачет, — сказал просто Максимка. — У нас отец сбежал.

— Да, — сказал Удалов. И тут только осознал, что сын его не принимает за отца, беседует как с однолеткой. И вообще нет больше прежнего Удалова. Есть ничей ребенок. И вновь вскипел гнев. И ради удовлетворения его приходилось жертвовать сыном. — Снимай штаны, — приказал он мальчику.

Не поддерживаемые более пижамные штаны Удалова опять упали, и он стоял перед пойманным сыном в длинной майке, подобной сарафану или ночной рубашке.

— Уйди, — сказал мальчик нерешительно своему двойнику. Его еще никогда не грабили, и он не знал, что полагается говорить в таких случаях.

Удалов-старший вздохнул и ударил сына по носу остреньким жестким кулачком. Нос сразу покраснел, увеличился в размере, и капля крови упала на белую рубашку.

— А я как же? — спросил мальчик, который понял, что штанишки придется отдать.

— Мои возьмешь. — Удалов показал себе под ноги. — Они большие. И трусы снимай.

— Без трусов нельзя, — отказался мальчик.

— Еще захотел? Забыл, как тебе от меня позавчера попало?

Максимка удивился. Позавчера ему ни от кого, кроме отца, не попадало.

Белая рубашка доставала Максимке только до пупа, и он прикрылся поднятыми с земли, свернутыми в узел пижамными брюками.

— Из этих брюк мы тебе три пары сделаем, — пообещал подобревший Удалов, натягивая синие штанишки. — А теперь беги. И скажи Ксении, чтоб не беспокоилась. Я вернусь. Ясно?

— Ясно, — ответил Максим, который ничего не понял. Прикрываясь спереди пижамными штанами, он побежал по улице, и его беленькие ягодицы жалобно вздрагивали на бегу, вызывая в отце горькое, сиротливое чувство.

## 25

Дежурный лейтенант посмотрел на женщину. Она робко облокотилась о деревянный шаткий барьер. Слезы оставили на щеках искрящиеся под солнечным светом соляные дорожки.

— Сына у меня ограбили, — сказала она. — Только что. И муж скрылся. Удалов. Из ремконторы. Среди бела дня, в сквере.

— Разберемся, — успокоил лейтенант. — Только попрошу по порядку.

— У него рука сломанная, в гипсе, — сказала женщина. Она смотрела на лейтенанта требовательно. По соляным руслам струились ручейки слез.

— У кого? — спросил лейтенант.

— У Корнелия. Вот фотокарточка. Я принесла.

Женщина протянула лейтенанту фотографию — любительскую, серую. Там угадывалась она сама в центре. Рядом были полный невыразительный мужчина и мальчик, похожий на него.

— Средь бела дня, — продолжала женщина. — Я как раз к вам собралась, соседи посоветовали. А тут прибегает Максимка, без штанов. Синие такие были, на помочах...

Женщина широким движением сеятеля выбросила на барьер светлые в полоску пижамные штаны.

Лейтенант посмотрел на нее как обреченный...

— Может, напишете? — спросил он. — Все по порядку. Где, кто, что, у кого отнял, кто куда сбежал — только по порядку, и не волнуйтесь.

Говоря так, лейтенант подошел к графину с кипяченой водой, налил воды в граненый стакан, дал ей напиться.

Женщина пила, изливая выпитое слезами, писать отказывалась и все норовила рассказать лейтенанту яркие детали, упуская целое, ибо целое ей было уже известно.

Минут через десять лейтенант наконец понял, что два трагических события в жизни семьи Удаловых между собой не связаны. Муж пропал вечером, вернее, ночью; пришел из больницы, сослался на командировку и исчез в пижаме. Сына ограбили утром, только что, в скверике у Параскевы Пятницы, и ограбление было совершено малолетним преступником.

Разобравшись, лейтенант позвонил в больницу.

— Больной Удалов на излечении находится? — спросил он.

Подождал ответа, поблагодарил. Потом подумал и задал еще вопрос:

— А вы его выписывать не собирались?.. Ах так. Ночью? В двадцать три? Ясно.

Потом обратился к Удаловой.

— Правильно говорите, гражданка, — сказал он ей. — Ушел ваш супруг из больницы. В неизвестном направлении. Медперсонал предполагал, что домой. А вы думаете, что нет?

— Так и думаю, — ответила Удалова. — И еще сына ограбили. Оставили пижаму.

Лейтенант разложил пижамные штаны на столе.

— От взрослого человека, — показал он. — А вы говорите — ребенок.

— Я и сама не понимаю, — согласилась Удалова. — И мальчик такой правдивый. Тихий. Смирный. И штаны с помочами были. Синие. Вот как на этом.

Гражданка Удалова показала на мальчика в синих штанишках, вошедшего тем временем в помещение милиции и робко отпрянувшего к двери при виде Удаловой.

Ксения не узнала своего мужа. Не узнала она и штанов, принадлежавших ранее Максиму, ибо они пришлись Корнелию в самый раз.

— Так вы свою жалобу напишете? — спросил лейтенант.

— Напишу. Все как есть напишу, — сказала Ксения. — Только домой сбегаю и там напишу. Кормить сына надо.

При таком свидетельстве заботы жены о доме Корнелию захотелось плакать слезами раскаяния, но он удержался — не смел обратить на себя внимание.

— Тебе чего, мальчик? — спросил лейтенант, когда Удалова ушла писать заявление и кормить сына.

Удалов, почесывая ладонь, подошел к барьеру. Голова его белым курганчиком возвышалась над деревянными перилами, и ему пришлось стать на цыпочки, чтобы начать разговор с дежурным.

— Не тебе, а вам, — поправил Удалов. Когда себя не видел, как-то забывал о своих истинных размерах.

— Ну, вам, — не стал спорить лейтенант. — Говори, пацан.

— Дело государственной важности, — произнес Удалов и оробел.

— Молодец, — одобрил лейтенант. — Хорошо, когда дети о большом думают. Погляди, старшина, мы в его возрасте только футболом интересовались.

Старшина, сидевший в другом углу, согласился.

— Я поближе хочу, — сказал Удалов. — За барьер.

— Заходи, садись. И начинай, а то у меня дежурство кончается. Домой пора. Жена ждет, понимаешь?

Удалов это понимал. И кивнул головой сокрушенно.

Мальчик в слишком больших башмаках, завязанных, чтобы не упали, под коленками шнурками, вскарабкался на стул.

Лейтенант смотрел на мальчика с сочувствием. У него детей не было, но он их любил. И хоть дело мальчика касалось какой-нибудь малой несправедливости, обижать его лейтенант не хотел и слушал как взрослого.

— Существует заговор! — начал Удалов. — Я еще не знаю, кто его финансирует. Но может оказаться, что и не марсиане.

— Во дает. — Старшина поднялся со стула и подошел поближе.

— Шпиона видел? — ласково спросил лейтенант.

— Да вы послушайте! — воскликнул мальчик, и глаза его увлажнились. — Говорю, заговор. Я сам тому доказательство.

Лейтенант незаметно подмигнул старшине, но мальчик заметил это и сказал строго:

— Попрошу без подмигиваний, товарищ лейтенант. Они сейчас обсуждают дальнейшие планы. Со мной разделались, а что дальше, страшно подумать. Возможно, на очереди руководящие работники в районе и области.

— Во дает! — повторил старшина совсем тихо.

Он подумал, что жизнь ускоряет темпы, и если следить за прессой, то увидишь, что в западных странах психические заболевания приняли тревожный размах. Теперь подбираются к нам. А мальчика жалко.

— Ну а как тебя зовут, мальчик? — спросил лейтенант.

— Удалов, — ответил мальчик. — Корнелий Удалов. Мне сорок лет.

— Та-ак, — произнес лейтенант.

— Я женат, — продолжал Удалов, и лопоухое личико порозовело. — У меня сын, Максимка, в школу ходит.

Тут Удалова посетили воспоминания о преступлении против собственного ребенка, и он еще ярче зарделся.

— Та-ак, — протянул лейтенант. — Тоже, значит, Удалов.

Неожиданно во взоре его появилась пронзительность.

И он спросил отрывисто:

— А штаны с тебя в парке сняли?

— Какие штаны?

— А мамаша твоя с жалобой приходила?

— Так она же меня не узнала! — взмолился Удалов. — Потому что я не сын, а муж. Только меня превратили в ребенка, в мальчика. Я про это и говорю. А вы не верите. Если бы я был сын, то меня бы она узнала. А я муж, и она меня не узнала. Понятно?

— Во дает! — в очередной раз удивился старшина и начал продвижение к двери, чтобы из другой комнаты позвонить в «Скорую помощь».

— Ты лучше к его мамаше сходи. Она адрес оставила, — сказал лейтенант, понявший замысел старшины. — Погоди, мальчика сначала в детскую комнату определим.

— Нет! — закричал Удалов. — Я этого не перенесу! У меня паспорт есть, только не с собой. Я вам такие детали из своей жизни расскажу! Я ремконторой руковожу!

Лейтенант печально потупился, чтобы не встречаться взглядом с заболевшим мальчиком. Ну что он мог сказать, кроме общих слов сочувствия? Да и эти слова могли еще более разволновать ребенка, считающего себя руководителем ремконторы Удаловым.

Старшина сделал шаг по направлению к мальчику, но тот с криками и плачем, с туманными угрозами дойти до Вологды и даже до Москвы соскочил со стула, затопал тяжелыми ботинками, вильнул между рук старшины, увернулся от броска лейтенанта и выскользнул за дверь, а затем скрылся от преследователей среди куч строительного мусора, накопленного во дворе реставрационных мастерских.

Научный склад мышления — явление редкое и не обязательно свойственное ученым. Он предусматривает внутреннюю объективность и желание добиться истины. Удалов не обладал этим складом, потому что стать мальчиком, когда внутренне подготовился к превращению в полного сил юношу, слишком обидно и стыдно. Поэтому воображение Удалова, богатое, но неорганизованное, подменило эксперимент заговором, и заговор этот рос по мере того, как запыхавшийся Корнелий передвигался по городу, распугивая кур и гусей. И чудилось Корнелию, что заговорщики в черных масках подкрадываются к системе водоснабжения и отрава проникает в воду, пиво, водку и даже в капли от насморка.

Просыпается утром страна, и обнаруживается — нет в ней больше взрослых людей. Лишь дети, путаясь в штанах и башмаках, выходят с плачем на улицы. Остановился транспорт — детские ножки не могут достать до тормозных педалей. Остановились станки — детские ручки не могут удержать тяжелую деталь. Плачет на углу мальчик — намеревался сегодня выходить на пенсию, а что теперь? Плачет девочка — собралась сегодня выйти замуж, а что теперь? Плачет другая девочка — завтра ее очередь лететь в космос. Плачет второй мальчик — вчера только толкнул штангу весом в двести килограммов, а сегодня не поднять и двадцати.

Мальчик-милиционер двумя ручками силится поднять палочку-регулировочку. Девочка-балерина не может приподняться на носки. Мальчик-бас, оперный певец, пищит-пищит: «Сатана там правит бал!»

А враги хохочут, шепчутся: «Теперь вам не взобраться в танки и не защитить своей страны от врагов...»

И тут, по мере того как блекла и расплывалась страшная картина всеобщего помоложения, Удалова посетила новая мысль: «А вдруг уже началось? Вдруг я не единственная жертва старика? А что, если все — и Кастельская, и Шурочка Родионова, и друг Грубин, и даже подозрительная старуха Бакшт, — все они стали детьми и с плачем стучатся в дверь Кастельской?»

Новая мысль поразила Удалова своей простотой и очевидностью, подсказала путь дальнейших действий, столь нужный.

К дому Кастельской Удалов подкрадывался со всей осторожностью и к играющим на тротуаре детям приглядывался с опаской и надеждой — любой ребенок мог оказаться Еленой Сергеевной или Сашей Грубиным. Да и вообще детей в городе было очень много — более, чем вчера. Это свое наблюдение Удалов также был склонен отнести за счет сговора старика с марсианами, а не за счет хорошей погоды, как это было на самом деле.

Но стоило Удалову войти в сени, как все иллюзии разлетелись. Пострадал лишь он.

## 26

Перед Удаловым стояла чашка с какао, батон, порезанный толсто и намазанный вологодским маслом. На тарелке посреди стола горкой возвышался колотый сахар. В кастрюле дымилась крупная картошка.

О Корнелии заботились, его жалели очаровательные женщины, угощали шампанским (из наперстка), мужчины легонько постукивали по плечику, шутили, сочувствовали. Здесь, по крайней мере, никто не ставил под сомнение действительную сущность Удалова. Он весь сжался и чувствовал себя подобно одинокому разведчику в логове коварного врага. Каждый шаг грозил разоблачением. Удалов улыбался напряженно и сухо.

— И неужели никакого противоядия? — шептала Милица Грубину, тот глядел на Алмаза, Алмаз разводил под столом ладонями-лопатами.

Может, где-то на отдаленной звезде это противоядие давно испытано и продается в аптеках, а на Земле пока в нем необходимости нет. Алмаз Удалова особо не жалел — получил человек дополнительно десять лет жизни. Потом поймет, успокоится. Другому бы это счастье, спасение.

— В дозе ошибки не было? — спросил Грубин.

— Не было, — сказал Алмаз.

Грубин листал тетрадь, шевелил губами, снова спросил:

— А ошибиться вы не могли?

— Сколько всем, столько и ему, — сказал Алмаз.

— А если он сам? — спросила Шурочка.

— Я только свою чашку выпил, — проговорил быстро Удалов.

— «А косточку я выкинул в окошко», — весело процитировала Шурочка. Она быстро свыклась с тем, что Удалов — мальчик, и только. И общалась с ним как с мальчиком.

— Я ж говорю, что не пил. — Удалов внезапно заплакал. Убежал из-за стола, размазывая кулачками слезы.

Елена Сергеевна укоризненно поглядела на Шурочку, покачала головой.

Алмаз заметил это движение, ухмыльнулся: укоризна Елены Сергеевны была от прошлого, с нынешним девичьим обликом вязалась плохо.

— Я только Ксюшину бутылочку выпил. Маленькую. Она меня из дома выгнала! — крикнул Удалов от двери.

Грубин продолжал листать тетрадь старика. Его интересовал состав зелья, хотя из тетради, записанной множество лет назад, узнать что-либо было трудно.

Савич искоса поглядывал на Елену, порой приглаживал волосы так, будто гладил лысину. Савич был растерян, так как еще недавно, вчера ночью, дал овладеть собой иллюзии, что, как только он помолодеет, начнет жизнь снова, откажется от Ванды, придет к Елене и скажет ей: «Перед нами новая жизнь, Леночка. Давай забудем обо всем, ведь мы нужны друг другу». Или что-то похожее.

Теперь же вновь наступили трудности. Сказать Елене? А Ванда? Ну кто мог подумать, что так произойдет? И кроме того, они ведь связаны законным браком. И Савич чувствовал раздражение против старика Алмаза, поставившего его в столь неловкое, двусмысленное положение.

А Елена тоже посматривала на Савича. Думала о другом. Думала о том, что превращение, происшедшее с ними, — обман. Не очевидный, но все-таки самый настоящий обман. Ведь в самом деле никто из них, за исключением, может быть, старухи Милицы, почти впавшей в детство и потерявшей память, не стал в самом деле молодым. Осталась память о прошлом, остались привычки, накопленные за много лет, остались разочарования, горести и радости — и никуда от них не деться, даже если тебе на вид лет восемь, как Удалову.

Вот сидит Савич. В глазах у него обида и растерянность. Но обида эта и растерянность не свойственны были Савичу-юноше. И возникли они давно, постепенно, от постоянного ощущения неудовлетворенности собой, своей работой, своей квартирой, характером своей жены. И даже жест, которым Савич поглаживает волосы, пришел с лысиной, с горестным недоверием к слишком быстрому и жестокому бегу времени.

Если сорок лет назад можно было сидеть вдвоем на лавочке, целоваться, глядеть в звездное небо, удивляться необыкновенности и новизне мира и своих чувств, то теперь этого сделать будет нельзя. Как ни обманывай себя, не избавишься от спрятанного под личиной юноши тучного, тяжело дышащего лысого провизора.

Омоложение было иллюзией, но вот насколько она нужна и зачем нужна, Елена еще не разобралась. Пока будущее пугало. И не столько необходимостью жить еще несколько десятков лет, сколько вытекающими из омоложения осложнениями житейскими.

— Семь человек приняли эликсир, — сказал деловито Грубин, захлопывая тетрадь. — Все здорово помолодели. Один даже слишком.

Удалов громко всхлипывал в маленькой комнате. Даже Ваня пожалел его, взял мяч и пошел туда, к грустному мальчику.

— Все-таки процент большой, — определил Савич.

— Но главное — эксперимент удачен. И это раскрывает перед человечеством большие перспективы. А на нас накладывает обязательства. Ведь бутыль-то разбилась.

— Нам вряд ли поверят, — сказал Савич. — Уж очень все невероятно.

— Обязательно поверят, — возразил Грубин. — Нас девять человек. У нас, в конце концов, есть документы, воспоминания, люди, которых мы можем представить в качестве свидетелей. Ведь мы-то, наше прошлое куда-то делись. Нет, придется признать.

— Не признают, — вмешался Удалов, вошедший тем временем в комнату, чтобы избавиться от общества Вани с мячиком. — Я правду скажу: я уже ходил в милицию. Не поверили. Чуть было маме не отдали, то есть моей жене. Пришлось бежать.

Удалов виновато поведал историю своих похождений. Он уже понял, что стал жертвой ошибки, жертвой своего исключительно злокачественного невезения.

— Эх, Удалов, Удалов! — сказал наконец Грубин. — И когда ты станешь взрослым человеком?

— Лет через десять, — хихикнула Шурочка.

— Шурочка! — остановила ее Елена.

— Вам бы только издеваться, — пожаловался Удалов. — А я без работы остался и без семьи. Как мне исполнять свои обязанности, семью кормить, отчитываться перед руководящими органами?

— Да, — сказал Грубин. — Дело нелегкое. И в милицию теперь не пойдешь за помощью. Им Удаловы так голову закрутили — чуть что, сразу вызовут «Скорую помощь» и санитаров со смирительной рубашкой. Да и другие органы, верно, предупреждены. Надо в Москву ехать. Прямо в Академию наук. Всем вместе.

— Уже? — спросила Милица. — Я хотела пожить в свое удовольствие.

— В Москве для этого возможностей больше, — бросил Алмаз. — Только уж обойдитесь без меня. Я потом подъеду. Вернуться надо к своим делам.

— Да как же так? Без вас научного объяснения не будет.

— А мое объяснение меньше всего на научное похоже.

— Что за дела, если не секрет? — заинтересовалась вдруг Елена.

— Спрашиваешь, будто я по крайней мере до министра за триста лет дослужился. Разочарую, милая. В Сибири я осел, в рыбной инспекции. Завод там один реку портит, химию пускает. Скоро уже и рыбы не останется, когда-нибудь, будет времени побольше, расскажу, какую я борьбу веду с ними четвертый год. Но возраст меня подводил, немощь старческая. Теперь уж я их замотаю. Попляшут. Главный инженер или фильтры поставит, или вместо меня на тот свет. Я человек крутой, жизнью обученный. Вот так.

Алмаз положил руку на плечо Елены, и та не возражала. Рука была тяжелая, горячая, уверенная. Савич отвернулся. Ему этот жест был неприятен.

— Учиться вам надо, Алмаз Федотович, — сказала Милица. — Тогда, может, и министром станете.

— Не исключено, — согласился Алмаз. — Но сначала я главного инженера допеку. И всех вас приглашу на уху. Добро?

Грубин опустился тем временем на колени и заглянул под стол. Он увидел, что в том месте, где на пол пролился эликсир, из досок за ночь поднялись ветки с зелеными листочками. Пол тоже помолодел.

— А в Москву ехать на какие деньги? — спросил Грубин из-под стола.

## 27

Никто уже не сомневался, что в Москву ехать надо. Слово такое появилось и овладело всеми: «Надо». Жили люди, старели, занимались своими делами и никак не связывали свою судьбу с судьбами человечества. И даже когда соглашались на необычный эксперимент, делали это по самым различным причинам, опять же не связывая себя с человечеством.

Но когда обнаружилось, что таинственный эликсир и в самом деле действует, возвращает молодость, оказалось, что на людей свалилась ответственность, хотели они того или нет. Да и в самом деле, что будешь делать, если в руки тебе дается подобный секрет? Уедешь в другой город, чтобы тихо прожить жизнь еще раз?

Раньше Алмаз так и делал. Хоть и проживал очередную жизнь не тихо, а в смятении и бодрствовании, но к людям пойти, поделиться с ними тайной не мог, не смел — погубили бы его, отняли тайну, передрались бы за нее. Так предупреждал пришелец. Но то был один Алмаз. Теперь семь человек.

Слово «надо», коли оно не пришло извне, а родилось самостоятельно, складывается из весьма различных слов и мыслей, и нелегко порой определить его истоки. Грубин, например, с первого же момента рассматривал все как чисто научный эксперимент, так к нему и относился. Когда же помолодел и осознал тщету предыдущей жизни, то в нем проснулся настоящий ученый, для которого сущность открытия лежит в возможности его использования.

Удалов внес свою лепту в рождение необходимости, потому что был уверен, что в Москве хорошие врачи. Если придется к ним попасть, вылечат от младенчества, вернут в очевидный облик. Его «надо» было чисто эгоистическим.

Савич готов был ехать куда угодно — его ничто не удерживало в Гусляре. В аптеку путь закрыт — кому нужен юный провизор, который вчера был солидным мужчиной предпенсионного возраста? О том, чем он будет заниматься, Савич не думал — его главные проблемы были личными. Что делать с двумя девушками, на одной из которых за последних сорок лет он дважды женился, а другую дважды бросил? Увидев молодую Елену, Савич испытал раздражение против себя и понял, что вчера был совершенно прав, надеясь связать свою новую жизнь именно с Еленой. Когда тебе двадцать — в самом деле двадцать, — ты можешь не разглядеть за соблазнительной девичьей оболочкой вульгарность, грубость и даже — Савич не боялся этого слова — пошлость. Но с сорокалетним опытом совместной жизни пришло и полное осознание прежней ошибки. Теперь оставалось сделать один лишь шаг — честно рассказать обо всем Елене, прекрасной, тонкой, понимающей, и добиться ее взаимности. Ведь была же эта взаимность сорок лет назад? Ведь страдала Лена, когда он оставил ее! Теперь должно наступить искупление и затем — счастье.

Но, размышляя так, Савич сам себе не верил. Он всей шкурой ощущал, что у него неожиданно появился соперник, который не даст возможности не спеша осмотреться, все обсудить и принять нужные меры. Этот бывший старик был нахален и, видно, привык забирать от жизни все, что ему приглянулось. А у Елены совершенно нет опыта обращения с подобными субъектами. И осмотрительность Савича, которую Елена может ложно истолковать, также работает против него — с каждой минутой шансы Савича тают.

Елена Сергеевна также была в растерянности, но Савич не занимал в ее мыслях главного места. Она поняла, что возврата к прошлой жизни нет, надо искать выход, но ведь вся старая жизнь с ее требованиями и обязанностями оставалась. Оставалась дочь, которая вернется из отпуска за Ваней, оставались должности в общественных организациях и незавершенные дела, оставались друзья и знакомые, от которых придется отказаться. И отъезд в Москву, хоть и был бегством, оказывался наиболее разумным выходом из тупика. А что касается Никиты, конечно же, шок от появления молодого, курчавого, милого и доброго Никитушки был велик. И был бы больше, если бы рядом не оказалось Ванды Казимировны с ее хозяйскими повадками и взглядом женщины, которая Никитушкой владеет. Да и неудивительно — она же была первой, кто увидел Савича помолодевшим, и, наверное, уж успела принять меры, чтобы оставить его за собой. Да и взгляд Никиты, виноватый и растерянный, выдавал его с головой. Ясно было, что вчера он решился принять участие в опыте, потому что мечтал изменить жизнь. Сегодня же он вновь колеблется. И хорошо — все было решено сорок лет назад, зачем же начинать снова эту волынку?

Так Елена Сергеевна утешала себя, потому что нуждалась в утешении. Оказывается, ее чувство к Савичу не совсем испарилось за эти годы — да и много ли сорок лет в жизни человека? Кажется, только вчера она выслушивала клятвы в вечной верности и только вчера они с Никитой обсуждали свои совместные планы на жизнь.

И неудивительно, что Елена тянулась к Алмазу. Бывают мужчины, которых надо утешать. Значительно реже встречаются такие, которые сами могут тебя защитить и утешить. Алмаз не просил жалости, да и нелепо было бы его жалеть. Вот он, думала Елена, незаметно глядя на Алмаза, может взять тебя на руки и унести, куда пожелает, потому что знает, как хочется иногда женщине не принимать решений.

Алмаз перехватил этот несмелый взгляд и широко улыбнулся.

— Нашел тебя, — сказал он, поднимая бокал шампанского. — Теперь не упущу.

Ванда Казимировна, не спускавшая глаз с мужа и Елены, настороженная, как кошка перед мышиной норой, с радостью отметила эти слова. «Плохо твое дело, мой зайчик», — подумала она о муже.

А если так, то можно поехать в Москву. Взять отпуск в магазине за свой счет и прокатиться. Тысячу лет там не была. Заодно надо будет и приодеться. Ведь когда ты солидная пожилая дама, то подчиняешься одной моде, чтобы все было из дорогого материала и с драгоценностями. Когда тебе двадцать, надо менять стиль. В Москве театры, концерты, может быть, придется сверкать. Правда, для этого требуются средства. И значительные. Доехать, устроиться и там пожить. А почему и не пожить? Сорок лет накапливала. Можно позволить, накопления есть. Надо будет взять сберкнижку, которая хранится в сейфе, в универмаге.

— У меня совершенно нет сбережений, — призналась Милица. — Знаете, я как-то все свои жизни прожила без сбережений. Это так неинтересно — сберегать.

— И в поклонниках отказа не было, — сказал Алмаз.

— Не только в поклонниках — в мужьях, — поправила его с улыбкой Милица.

И поглядела, расширив глазищи, на Сашу. Тому показалось, что острые черные ресницы вонзаются ему в сердце. И ему стало стыдно, что у него тоже нет никаких сбережений. Последние он истратил на детали для вечного двигателя.

— Но в Москву попасть мечтаю, — сказала Милица. — Меня всегда тянуло в столицу.

Миша Стендаль поправил очки и приобрел сходство с Грибоедовым, прибывшим на первую аудиенцию к персидскому шаху. Он решился:

— Деньги достать можно.

— Откуда? — сокрушенно произнес Грубин. — Нам даже занять не у кого. Если я к своей двоюродной сестре приду, она меня с лестницы спустит. Решит, что я авантюрист.

— А ты ей паспорт покажи, — пискнул от двери Удалов, но никто не обратил внимания на его слова.

— Может, у тебя, Ванда Казимировна? — спросил Грубин. — Ты же директор.

— Нет, — сказала Ванда, не задумываясь, — мы только что гарнитур купили. Савич, подтверди.

— Купили, — сказал Савич и расстроился, потому что жене не поверил, но не посмел оспорить ее слова. Сам он свободных денег не имел, да и не нуждался в них. Зарплату сдавал домой, получал рубль на обед и когда нужно — на книгу.

«Так мы и не стали молодыми», — подумала Елена. Ванда когда-то была мотовкой, хохотушкой, цены деньгам не знала и знать не желала. А привыкла к деньгам постепенно. И сидит сейчас в юной Ванде пожилая директорша, которая не любит расставаться с копейкой. Так что молодость наша — только видимость.

— У меня есть шестьдесят рублей, — проговорила Елена.

— Не тот масштаб, — сказал Грубин.

— Может, отложим отъезд? — спросил Савич.

— Нельзя, — ответил Грубин. — Вы же знаете.

Он вылез из-под стола с букетиком зеленых листьев, что выросли за ночь в том месте пола, куда пролилось зелье. Листья он намеревался исследовать, попытаться определить состав жидкости.

— Вы же знаете, — сказал Грубин, — с каждой минутой следы эликсира в нашей крови рассасываются. День-два — и ничего не останется. На основе чего будут работать московские ученые? Любая минута на учете. Или мы выезжаем ночным поездом, либо можно вообще не ехать.

— Вот я и говорю, — продолжил Стендаль. — Деньги достать можно, и вполне официально. Я начну с того, что наши события произошли именно в городе Великий Гусляр. А кто знает о нашем городе? Историки? Статистики? Географы? А почему? Да потому, что Москва всегда перехватывает славу других городов. Я сам из Ленинграда, хотя уже считаю себя гуслярцем. И что получается? В Кировском театре почти балерин не осталось — Москва переманила. Команда «Зенит» успехов добиться не может — футболистов Москва перетягивает. А почему метро в Ленинграде позже, чем в Москве, построили? Все средства Москва забрала. А о Гусляре и говорить нечего, даже и соперничать не приходится. А почему бы не посоперничать? Обратимся в нашу газету!

— Правильно, Миша, — поддержала его Шурочка. — А раньше Гусляр, в шестнадцатом веке, Москве почти не уступал. Иван Грозный сюда чуть столицу не перенес.

— Красиво говоришь, — сказал Алмаз. — Город добрый, да больно мелок. Даже если здесь совершенное бессмертие изобретут, все равно с Москвой не тягаться.

— Газета добудет нам денег, — продолжал Стендаль, — опубликует срочно материал. И завтра утром мы отбываем в Москву. И нас уже встречают там. Разве не ясно? И Гусляр прославлен в анналах истории.

— Ну-ну, — сказал Алмаз. — Попробуй.

Стендаль блеснул очками, обводя взглядом аудиторию. Остановил взгляд на Милице.

— Милица Федоровна, вы со мной не пойдете?

— Ой, с удовольствием, — согласилась Милица. — А редактор молодой?

— Средних лет, — сдержанно ответил Стендаль.

— Тогда я возьму мой альбом. Там есть стихи Пушкина.

## 28

Пленка, которую принес с птицефермы фотограф, никуда не годилась. Ее стоило выкинуть в корзину, пусть мыши разбираются, где там несушки, а где красный уголок. Так Малюжкин фотографу и сказал. Фотограф обиделся. Машинистка сделала восемь непростительных опечаток в сводке, которая пойдет на стол к Белосельскому. Малюжкин поговорил с ней, машинистка обиделась, ее всхлипывания за тонкой перегородкой мешали сосредоточиться.

Степан Степанов из сельхозотдела, консультант по культуре, проверял статью о художниках-земляках. Пропустил ляп: в очерке сообщено, что Рерих — баталист. Малюжкин поговорил со Степановым, и тот обиделся.

К одиннадцати половина редакции была обижена на главного, и оттого Малюжкин испытывал горечь. Положение человека, имеющего право справедливо обидеть подчиненных, возносит его над ними и лишает человеческих слабостей. Малюжкину хотелось самому на кого-нибудь обидеться, чтоб поняли, как ему нелегко.

День разыгрался жаркий. Сломался вентилятор; недавно побеленный подоконник слепил глаза; вода в графине согрелась и не утоляла жажды.

Малюжкин был патриотом газеты. Всю сознательную жизнь он был патриотом газеты. В школе он получал плохие отметки, потому что вечерами переписывал от руки письма в редакцию и призывал хорошо учиться. В институте он пропускал свидания и лекции и подкармливал пирожками с повидлом нерадивых художников. Каждый номер вывешивал сам, ломал, волнуясь, кнопки и долго стоял в углу — глядел, чем и как интересуются товарищи. Новое полотнище, висящее в коридоре, было для Малюжкина лучшей, желанной наградой, правда, наградой странного свойства — со временем она переставала радовать, теряла ценность, требовала замены.

Иногда вечерами, когда институт таинственно замолкал и лишь в коридорах горели тусклые лампочки, Малюжкин забирался в комнату профкома, где за сейфом старились пыльные рулоны прошлогодних стенгазет, вытаскивал их, сдувал пыль, разворачивал на длинном столе, придавливал углы тяжелыми предметами, приклеивал отставшие края заметок и похож был на донжуана, перебирающего коллекцию дареных фотографий с надписями «Любимому» и «Единственному».

И теперь, дослужившись к вершине жизни до поста редактора городской газеты, Малюжкин уходил из редакции последним, перед уходом перелистывая подшивки газеты за последние годы.

Перед Малюжкиным стоял литсотрудник Миша Стендаль. Вид его был неряшлив, очки запылились.

— Что у тебя? — спросил Малюжкин.

— Важное дело.

— Важное дело здесь. — Малюжкин показал на недописанную передовицу о подготовке школ к учебному году. — К сожалению, не все понимают.

Малюжкин прижал палец к губам, затем им провел по воздуху и упер в стенку. Из-за стены шло всхлипывание. Стендаль понял, что машинистка снова допустила опечатки.

— Итак? — произнес Малюжкин, склонный к красивым словам.

— Итак, поверить мне трудно, но я принес настоящую сенсацию.

— Сенсация сенсации рознь, — заметил Малюжкин.

Само слово «сенсация» имело неприятный оттенок, связывалось в уме с унизительными эпитетами.

— Только без дешевых сенсаций, — сказал Малюжкин. — В одной центральной газете напечатали про снежного человека — и что? — Малюжкин резко провел ребром ладони по горлу, показывая судьбу редактора. — Ну, ты говори, не обижайся.

— У нас есть возможность стать первой, самой знаменитой газетой в мире. Интересует?

— Посмотрим.

Машинистка за стеной перестала всхлипывать — прислушивалась.

— Но в любом случае, — продолжал Малюжкин, — передовую заканчивать придется. Ты же за меня ее дописать не сможешь?

Малюжкин прикрыл на несколько секунд глаза и чуть склонил седеющую голову благородного отца. Ждал лестного ответа.

— Передовицу — в корзину, — сказал невежливо Стендаль. — На первую полосу другое.

Малюжкин терпеливо улыбнулся. Он умел угадывать нужное, своевременное. По виду Стендаля понял — блажь. И мысли переключил на завершение передовой.

— Вчера, — начал Стендаль, — в нашем городе произошло величайшее событие, сенсация века. Впервые удачно произведен эксперимент по коренному омоложению человеческого организма.

Торжественные слова, как рассчитывал Стендаль, легче проникают в мозг Малюжкина, но тот, слыша их, не вникал в смысл, а старался приспособить к делу, к передовой. «Впервые в стране произведен эксперимент, — повторял мысленно Малюжкин, — по полному охвату подрастающего поколения сетью восьмилетнего обучения». Внешне Малюжкин продолжал поддерживать беседу со Стендалем.

— В больнице, говоришь, эксперимент? — переспросил он. — Там у нас способная молодежь.

Из собственной фразы в передовицу пошли слова «способная молодежь». Надо было подыскать им нужное обрамление.

— Нет, не в больнице. На частной квартире.

— Не бегай по кабинету, садись.

Бегающий в волнении Стендаль, махающий руками Стендаль, протирающий на ходу очки Стендаль мешал Малюжкину сосредоточиться.

— Несколько человек, — продолжал Стендаль, присаживаясь на кончик стула и продолжая двигать ногами, — получили возможность овладеть секретом вечной молодости.

Обрамление для «способной молодежи» нашлось: «Способная молодежь получила возможность овладеть секретом науки». Малюжкин мысленно записал эту фразу.

— Да-да, — произнес он вслух. — Как же, читал.

— Где? — Стендаль даже перестал двигать ногами. — И ничего не сказали?

— Где? — удивился Малюжкин. — «Наука и жизнь» писала. — Редактор был уверен, что во лжи его не уличить. — «Наука и жизнь» уже писала обо всем. В Штатах опыты производились. У нас тоже — на собаках.

— Ясно, — сказал Стендаль. Понял, что редактор невнимателен. — И вы могли бы! — неожиданно крикнул он.

Малюжкин забыл все фразы для передовой. Испугался. Машинистки за стеной ахнули.

— И вы могли бы стать молодым! — кричал Стендаль. — Каждый может стать молодым! Вчера старик, сегодня юноша. Понимаете?

— Спокойно, — приказал Малюжкин. — Ты нервничаешь, Цезарь, значит, ты не прав. — Малюжкин указал пальцем на перегородку и продолжал шепотом: — За стеной люди, понял? Пойдут сплетни. А ты не проверил, а кричишь. Свидетели есть? Проверка была?

— Я сам свидетель, — сказал Стендаль, также переходя на шепот, наклоняясь через стол.

Они сидели как заговорщики, обсуждающие план ограбления банка.

— И еще свидетель есть, — пролепетал Стендаль. — Позвать?

— Ну-ну, — согласился Малюжкин. Передовицу все равно придется придумывать снова.

Стендаль высунулся в окно, крикнул:

— Мила, будьте любезны, поднимитесь! Комната пять, я вас встречу.

Стоило Стендалю отойти, как Малюжкин вернулся к передовой. Стендалю это не понравилось. Схватил лист, разорвал, бросил в корзинку.

— Ты с ума сошел, — зашипел Малюжкин. Обида завладела им.

— Сейчас придет женщина, — сообщил Стендаль. — Ей минимум двести лет. Она была знакома с Александром Сергеевичем Пушкиным.

Стендаль убежал.

«Женщины... — думал Малюжкин, склоняясь над мусорной корзиной, — везде женщины, все знакомы или с Пушкиным, или с Евтушенко, а верить никому нельзя».

За дверью послышался голос Стендаля:

— Сюда, Милица, главный ждет вас.

— Спасибо, — засмеялся серебряный голос в ответ.

«Театр, — подумал Малюжкин. — Показуха». Дверь распахнулась, и возникло чудо. Вошла шамаханская царица, прекрасная девушка в сарафане с альбомом в руках. Этой девушки раньше не было и быть не могло. Эту девушку можно было увидать однажды и всю жизнь питаться воспоминаниями.

— Здравствуйте. — Девушка протянула Малюжкину руку. Она держала ее выше, чем принято, и потому рука оказалась поблизости от губ редактора.

Малюжкин неожиданно для себя поцеловал тонкую атласную кисть и сел, заливаясь краской.

— Я тоже сяду? — спросила девушка.

— Очень приятно, — ответил Малюжкин. — Познакомиться очень приятно. Садитесь, ради всего святого... — Редактору хотелось говорить очень красиво, хотя бы как говорили герои Льва Толстого. — Крайне польщен, — закончил он.

— Мишенька, наверное, про меня рассказал, — улыбнулась девушка, и из ее глаз вылетели острые сладкие стрелы. — Меня зовут Милицей Бакшт, я живу в этом городе более ста лет.

— Не может быть, — сказал Малюжкин, приглаживая волосы на висках, — я бы запомнил ваше чудесное лицо...

По редакции уже прошел слух о появлении неизвестной красавицы. Думали, что из киногруппы, снимающей в городе историко-революционный фильм. Все мужчины пошли в коридор покурить. Курили рядом с дверью главного.

— А вы меня узнать и не можете, — сказала Милица. — Я еще вчера была древней старухой с клюкой. Ужасное зрелище, вспоминать не хочется. Вы меня понимаете?

— О да, — проговорил Малюжкин.

Милица гибко вскочила со стула, повернулась кругом, сарафан взметнулся и обнажил стройные ноги, и тут же она согнулась, оперлась на воображаемую палку, скривила спину, зашаркала, еле переставляя ноги, и руками двигала с трудом.

Смешно и радостно стало Малюжкину, и он сказал:

— Вы актриса, вы талантливая актриса, вам надо сниматься.

Машинистки, услышавшие эти слова через стенку, вынесли в коридор подтверждение новости: незнакомка была киноактрисой, главный ее хвалит.

Степанов вспомнил две картины, в которых он эту киноактрису видел. И многие согласились.

— Очень похоже, — подтвердил Стендаль. — Примерно так это и выглядело. Я сам помню.

— Вы верите мне? — спросила Милица, садясь снова на стул, и глаза ее настолько приблизились к лицу редактора, что тот ощутил головокружение.

— Вам верю во всем, в большом и в малом.

— Вы ему паспорт покажите, Мила, — посоветовал Стендаль.

— Не надо, — возразил Малюжкин. — Не надо никакого паспорта. Сейчас Миша подготовит материал, и вы не уходите, ради бога, не уходите. Вы расскажете мне все как было, что, как, когда. Сейчас же в номер.

— Вместо передовой, — напомнил Стендаль, который был еще молод и легко верил в добро.

— Вместо передовой, — подтвердил Малюжкин.

— Мишенька, — сказала Милица, — он, по-моему, в меня влюбился. Он рассудок теряет. Что же теперь делать? Вы в меня влюблены?

— Кажется, да, — произнес тихо редактор, не смея отрицать, но и не желая, чтобы сотрудники услышали об этом.

— Ну, я готовлю материал и в номер? — спросил Миша.

— Конечно. А вы... — в голосе Малюжкина проявилась жалкая просьба, — а вы посидите здесь, со мной? А?

— Посижу, конечно, посижу. Ведь ты недолго, Миша?

— Да я здесь же, на подоконнике, напишу. У меня вчерне все готово.

— Ну вот, — улыбнулась Милица. — Мы с вами знакомы и теперь будем разговаривать. Разве не чудесно, что я вчера была старухой, а сегодня молода?

— Чудесно, — согласился Малюжкин. — У вас чудесные зубы.

— Фу, это говорят только некрасивым девушкам, чтобы их не обидеть. — Милица засмеялась так звонко, что машинистки нахмурились.

— Нет, что вы, у вас красивые руки, и волосы, и нос, — сказал Малюжкин. Он хотел было продолжить перечисление, но тут зазвонил телефон, и редактор, не желавший ни с кем разговаривать, все-таки поднял трубку и сказал резко, чтобы отвязаться: — У меня совещание.

Трубка забулькала отдаленным человеческим голосом, и Малюжкин, не положивший ее вовремя, стал слушать. Миша подмигнул Милице, считая, что дело сделано, а та подмигнула в ответ, ибо была довольна своей красотой.

— Да, — ответил вежливым голосом Малюжкин. — Конечно. В завтрашнем номере, товарищ Белосельский. Я сам этим займусь, лично... Я отлично понимаю. Наше упущение, товарищ Белосельский.

Голос в трубке все урчал, и понемногу лицо Малюжкина собиралось в обычные деловые морщины, а волосы, завернувшиеся было в тугие цыганские завитки, на глазах распрямлялись и ложились организованно по обе стороны пробора.

— Отразим, разумеется, будет сделано, — закончил он разговор и повесил трубку. — Вот, — сказал он, глядя на Милицу, и потрогал пальцем кончик носа. — Такие дела. Передовица идет о прополке. Ясно, Стендаль? О прополке, а не о подготовке школ. Со школами еще не горит. Наше упущение. Самим следовало догадаться. Позовите ко мне Степанова. Одна нога здесь, другая там. Пусть захватит график прополки.

— Как же? — спросил Стендаль. — А статья?

— Да-да, — сказал Малюжкин. — Очень приятно было познакомиться. Всегда рад. Иди же, Стендаль! Время не ждет. В газете главное — сохранять спокойствие. Ясно?

В голосе Малюжкина была настойчивость. Стендаль не смог ослушаться. Вышел в коридор и нашел Степанова. Степанов задавал вопросы, касающиеся девушки, но Стендаль не отвечал.

— Пошли, — произнес он. — Передовую будете писать. Зайдите в отдел, возьмите данные по прополке. Одна нога здесь, другая там. Так сказал шеф.

— Я же в самом деле омолодилась, — говорила Милица редактору, когда Стендаль вернулся в кабинет.

Малюжкин поднял на Стендаля обиженные глаза — его отвлекали от дела.

— Завтра чтобы быть на работе вовремя, — велел он Мише.

— Но мне же Александр Сергеевич Пушкин стихи в альбом писал! — повторяла Милица. — Личные стихи. Только мне. И нигде их не печатали.

— Очень любопытно, — сказал Малюжкин. — Оставьте альбом, посмотрим. Поместим в рубрике «Из истории нашего края». Хорошо? Значит, по рукам. Молодцы, что стихи разыскали!

И Малюжкину, переключившемуся на прополку, казалось, что он хорошо обошелся с посетителями.

— Вы не волнуйтесь, мы стихов не затеряем, понимаем ценность, девушка.

— Вы звали? — спросил Степанов, глядя на Милицу Бакшт.

Малюжкин проследил за взглядом вошедшего сотрудника, что-то забытое шевельнулось в сердце.

— Сюда, Степанов, садись. Данные по прополке захватил? Звонили, надо срочно. Так что понимаешь...

— Ну, мы пошли, — сказал печально Стендаль.

— Конечно, конечно... — сказал Малюжкин, вожделенно глядя на графики в руке Степанова. Малюжкин любил газету и любил газетную работу. Обида прошла. — Не задерживайся! — крикнул он вслед Стендалю и забыл о нем.

Хлопнула дверь за посетителями. Колыхнулись тюлевые занавески на окне.

Степанов пожалел, что девушка ушла, в такую жару писать о прополке не хотелось. Хотелось на пляж. Он подвинул к себе раскрытый альбом в сафьяновом переплете. Почерк на желтоватой странице был знаком. Рядом той же рукой был нарисован профиль только что заходившей девушки.

— Это ее альбом? — спросил Степанов.

Малюжкин удивился, но ответил:

— Ее. Говорит, Пушкин писал. — И он хихикнул. — В «Красном знамени» все агрегаты простаивают, а в сводке завышают. А? Каковы гуси?..

Конечно, это был почерк Пушкина. Или изумительная совершенная подделка, которой место в музее Пушкина в Москве.

— «Оставь меня, персидская княжна...» — прочел Степанов. — «Оставь меня, персидская княжна...» — прочел он еще раз вслух.

— Потише, — предупредил Малюжкин. — Не отвлекайтесь стихами.

Степанов не слышал: он шевелил губами, разбирал строки дальше. Этого стихотворения он не знал. И никто не знал. Степанов был первым в мире пушкинистом, читающим стихотворение, которое начиналось словами: «Оставь меня, персидская княжна...»

— Это же открытие! — воскликнул он. — Мировой важности, надо писать в Москву. Завтра прилетит Андроников.

— Что вы, сговорились, что ли? — возмутился Малюжкин. — Давай по-товарищески, Степан. Кончим передовицу — звоним Андроникову, Льву Толстому, Пушкину, выпиваем по кружке пива — что угодно! Послушай начало: «Полным ходом идет прополка на полях колхозов нашего района». Не банально?

Но Степанов не слышал, так же как за несколько минут до этого Малюжкин перестал слышать и видеть Милицу Бакшт.

Степан Степанович Степанов был одержим Пушкиным. Он был одержим упорной надеждой узнать о великом поэте все и, изучая каждое слово, сказанное им, распорядок каждого дня его жизни, терпеливо ждал, когда судьба смилостивится и подарит ему открытие в пушкинистике, открытие случайное, находку, ибо закономерные открытия там уже все сделаны.

Прошло тридцать лет с тех пор, как Степан Степанов, отыскав на чердаке старого дома первое издание «Евгения Онегина», стал солдатом маленькой интернациональной армии пушкинистов. Степан Степанович постарел, обрюзг, страдал печенью, одышкой, похоронил жену, вырастил дочь Любу, и та уже выходит замуж, но открытие не давалось.

Ни сам Пушкин, ни его родственники, ни друзья декабристы не бывали в Великом Гусляре и не оставили там дневников, записных книжек и устных воспоминаний. Но Степанов искал, посещал забытые пыльные чердаки, за бешеные деньги покупал редкие издания, поддерживал переписку с Ираклием Андрониковым и пастором Грюнвальдом в Швейцарии, изучил два европейских языка, не продвинулся по службе, а открытие все медлило, не приходило.

И вот неизвестные строки Пушкина, сами, без всяких усилий со стороны Степанова, оказавшиеся перед ним. Степанов грузно поднялся со стула, держа на вытянутой руке альбом в сафьяновом переплете, и подошел к окну, к свету, чтобы под солнцем убедиться в том, что счастье в самом деле посетило его, что одно из решающих открытий в пушкинистике второй половины двадцатого века сделано именно им.

— Сядь, — догнал его голос Малюжкина. — Послушай: «Однако в отдельных хозяйствах темпы прополки недостаточно высоки». Или, может, написать просто «невысоки»? Или «низки»?

— Кто та девушка? — спросил Степанов.

— Какая девушка?

— Девушка, которая к тебе приходила. С Мишей Стендалем.

— Так ты у нее и спроси. Почему у меня? Не знаю я никакой девушки.

Малюжкин тоже был одержимым человеком. Он был одержим желанием сделать газету самой лучшей в области.

— Так, — сказал Степанов, стряхнул пепел с мятых брюк, с трудом стянул на обширном животе расстегнувшуюся пуговицу и, громко запев: «Оставь меня, персидская княжна...», ушел из кабинета главного редактора, убыстряя шаги, протопал по коридору и выскочил на улицу.

Малюжкин посмотрел ему вслед и обиделся до слез.

## 29

Милица со Стендалем доплелись до пивного ларька, у которого под разноцветными пляжными зонтиками стояли шаткие столики с голубым пластиковым верхом.

Миша отстоял в очереди, поставил на столик две кружки с шапками теплой пены. Он был разочарован в жизни и в идеалах.

— Что же, не оценили нас? — спросила Милица.

— Я совершил тактическую ошибку, — признал Стендаль, не зная еще, в чем она заключалась.

— Сначала я ему понравилась, — произнесла Милица.

Стендаль пил пиво, морщился.

— Придется прямо в Москву, — сказал он. — И Великий Гусляр останется никому не известным, заштатным городком. И они будут кусать себе локти. Пускай кусают.

— Немного он все-таки прославился, — напомнила Милица. — Я же здесь жила. — Она улыбалась. Она шутила, хотела развеселить Стендаля. — Все уладится.

— И никто не верит, — сказал Стендаль. — Даже в милиции Удалову не поверили. А мне в газете. Что мы, проходимцы, что ли? Вот Грубин побежал опыты ставить, чтобы ничего не упустить. И вы тоже не только о себе думаете. Ведь правда?

— Ага, — подтвердила прекрасная Милица. — Смотрите, тот смешной дядька бежит.

По площади бежал, вертел головой мягкий, колышущийся мужчина, голый череп которого выглядывал из войлочного венца серых волос, как орлиное яйцо из гнезда. У мужчины были толстые актерские губы и нос римского императора времен упадка. Под мышкой он держал большой альбом. Весь он, от нечищеных ботинок, за что его журил Малюжкин, до обсыпанного пеплом пиджака, являл собой сочетание неуверенности, робости и фантастической целеустремленности.

— Мой альбом несет, — определила Милица.

— Это Степан Степанов, — сказал Миша Стендаль. — Они спохватились. Они поняли и разыскивают нас. Сюда! — махал рукой Стендаль, призывая Степанова. — Сюда, Степан Степаныч!

Степанов протопал к столику. Очень обрадовался.

— А я вас ищу, — сказал он, придавливая к земле стул, — вернее, вашу спутницу. Я уж боялся, что не найду, что мне все почудилось.

— Вас Малюжкин все-таки прислал? — спросил утвердительным тоном Стендаль.

— Какой Малюжкин? Ни в коем случае. Он, знаете, резко возражал. Он не осознает. Девушка, откуда у вас этот альбом?

— Это мой альбом, — ответила Милица.

Степанов подвинул к себе кружку Стендаля, отхлебнул в волнении.

— А вы знаете, что в нем находится? — спросил Степанов, сощурив и без того маленькие глазки.

— Знаю, мне писали мои друзья и знакомые: Тютчев, Фет, Державин, Сикоморский, Пушкин и еще один из земской управы.

— Пушкин, говорите? — Степанов был строг и настойчив. — А вы его читали?

— Конечно. У вас, Мишенька, все в редакции такие чудаки?

— Если Степаныч не убедит главного, никто этого не сделает, — сказал Миша, в котором проснулась надежда.

— И не буду, — сказал Степанов. — А вы знаете, девушка, что это стихотворение нигде не публиковалось?

— А как же? — удивилась Милица. — Он же мне сам его написал. Сидел, кусая перо, лохматый такой, я даже смеялась. Я только друзьям показывала.

— Так, — проговорил Степанов задыхаясь, допивая стендалевское пиво. — А если серьезно? Откуда у вас, девушка, этот альбом?

— Объясни ему, — попросила Милица. — Я больше не могу.

— Альбом — это только малая часть того, что мы пытались втолковать Малюжкину, — начал Стендаль, подвигая к себе кружку Милицы. — Дело не в альбоме.

— Не сходите с ума, — произнес Степанов, — дело именно в альбоме. Ничего не может быть важнее.

— Степан Степаныч, вы же знаете, как я вас уважаю. Никогда не шутил над вами. Послушайте и не перебивайте. Вы только, пожалуйста, дослушайте, а потом можете звонить, если не поверите, в сумасшедший дом или вызывать «Скорую помощь»...

Когда Стендаль закончил рассказ о чудесных превращениях, перед ним и Степановым стояла уже целая батарея пустых кружек. Их покупала и приносила Милица, которой скучно было слушать, которая жалела мужчин, была добра и неспесива. Продавщица уже привыкла к ней, отпускала пиво без очереди, и никто из мужчин, стоявших под солнцем, не возражал. И странно было бы, если бы возразил, — ведь раньше никто из них не видал такой красивой девушки.

— А альбом? — спросил Степанов, когда Миша замолчал.

— Альбом заберем в Москву. Как вещественное доказательство. Как только соберем деньги на билеты.

— К Андроникову?

— Там придумаем, может, и к Андроникову.

— Он его получит от меня, — сказал Степанов. — Я еду с вами.

— Как можно? — удивился Стендаль. — Неужели вы нам не верите?

— Я буду предельно откровенен, — ответил Степанов, поглаживая сафьяновый переплет. — Мне хотелось бы встретиться, чтобы развеять последние сомнения, с Еленой Кастельской. Имею честь быть с ней знакомым в течение трех десятилетий. Если она ваш рассказ подтвердит, сомнения отпадут.

— Вы ее можете не узнать, ей сейчас двадцать лет. Как и мне.

— А я задам ей два-три наводящих вопроса. К примеру, кто, кроме нее, голосовал в прошлом году на депутатской комиссии за ассигнования на реставрацию церкви Серафима. Я тоже не лыком шит.

— Вы голосовали, — сказала Милица. — Пиво еще хотите?

— Я, — сознался Степанов и очень удивился. — Спасибо. Пойдем?

— А не кажется ли вам, — спросил осмелевший и преисполнившийся оптимизмом Стендаль, — что все это сказочно, невероятно, таинственно и даже подозрительно?

— Послушайте, молодой человек, — ответил с достоинством Степанов, — на моих глазах родились телефон и радио. Я собственными глазами видел фотокопию пушкинского письма, обнаруженного недавно в небольшом городе на Амазонке. Почему я не должен доверять уважаемым людям только потому, что чувства мои и глаза отказываются верить реальности? Человеческие чувства ненадежны. Ими не постигнешь даже элементарную теорию относительности. Разум же всесилен. Обопремся на него, и все станет на свои места. В таком случае стихотворение получает хоть и необычное, но объяснение, а это лучше, чем ничего.

## 30

— Елена Сергеевна, — произнес от двери Стендаль, пропуская Милицу и Степанова вперед, — скажите, кто, кроме вас, голосовал в прошлом году на депутатской комиссии за срочные ассигнования на реставрацию церкви Серафима?

— Степанов, — ответила Елена Сергеевна.

— Узнал, — обрадовался Степанов. — Я бы и без того узнал. Вы вообще мало изменились. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Поздравляю с перевоплощением.

— Степан Степанович, как я рада! — воскликнула Елена. — Хоть живая душа. А то мы очутились в каком-то ложном положении.

— По ту сторону добра и зла, — сказал Алмаз Битый с полу.

Он строил вместе с Ваней подвесную дорогу из ниток, спичечных коробков и различных мелких вещей. Ноги Алмаза упирались в стену, ему было неудобно лежать, но иначе не управишься.

Степанов заполнил комнату объемистым телом, положил на стол альбом.

— Весьма сочувствую, — сказал он. — Только что был свидетелем очередной неудачи наших юных друзей в редакции. Одно дело мечтать о журавле в небе, лежа на диване, другое — догадаться, что это именно он опустился к тебе на подоконник, и протянуть руку.

— Битый, — представился Алмаз, поднимаясь с пола, как молодой дог: медленно подбирая под себя и распрямляя могучие члены. — Один из виновников происшедшего. Но не раскаиваюсь.

— Как же, как же, — согласился Степанов. — С вашей стороны благородно было поделиться таким интересным секретом.

— Не хотел я сначала, — сказал Алмаз. — Думал, произойдут от этого только неприятности.

— А сейчас? — спросила Елена.

— Сейчас поздно раскаиваться. Но кто мне ответит, нужна ли людям вечная молодость? К ней тоже привыкнуть надо.

— А вы привыкли?

— Не сразу. Настоящая молодость бывает только один раз. Пока ты не знаешь, что последует зa ней.

— Это правильно, — согласилась Елена.

— Но ты не расстраивайся, — сказал Алмаз. — Я тебя увезу в Сибирь. Дело найдется. Вот вы, — обратился он к Степанову, — вы уже все о наших приключениях знаете, согласились бы сейчас, если бы зелье сохранилось, присоединиться к нам?

— Не знаю, — произнес медленно Степанов. — Нет, наверное. Меня вполне устраивает мой возраст. Может, только чтобы похудеть немного. Лишний вес мешает.

— Ну, это ничего, — сказал Стендаль. — В Москве устроим вас в Институт питания. Станете Аполлоном. У нас будут большие связи в медицинском мире. И вообще все великие открытия сначала вызывали возражения, столкновения, споры и так далее. Может быть, в Москве, когда мы явимся с рецептом вечной молодости, хотя и с неполным рецептом, нам не все поверят. И даже те, кто поверит, поверят не сразу.

— Но я же поверил. Больше того, зная о ваших временных финансовых затруднениях, согласен пойти навстречу. Человек я одинокий, и есть у меня кое-какие сбережения. Потом, будете при деньгах, отдадите.

— Вот это правильно, — одобрил Алмаз.

— Степан Степаныч — пушкиновед, — сказал Стендаль. — Он нас признал, когда с альбомом ознакомился.

— Да, я интересуюсь творчеством Александра Сергеевича.

— Милица с ним была знакома, — сказал Алмаз.

— Знаете, как-то трудно поверить, — сознался Степанов. — Хоть я и поверил.

— А мне лично с Пушкиным сталкиваться не приходилось. Хотя был в то время в Петербурге. Я в январе тридцать седьмого возвращался в Россию из Парижа и должен был в Санкт-Петербурге встретить одного человека, передать ему письма и деньги. А человека я того знал еще с совместного пребывания на Дворцовой площади в двадцать пятом...

— Вы имеете в виду декабрьское восстание? — спросил Степанов.

— Конечно.

— С ума сойти, — сказал Степанов.

## 31

Пока взрослые разговаривали со Степановым, Удалов страдал. Он страдал по утерянной зрелости, страдал от того, что стал сиротой, что никто не принимает его всерьез, даже те, кто знает о его действительном возрасте и положении. Играть с Ванечкой в мячик и кубики было унизительно и глупо, а когда Алмаз, не желая дурного, походя сунул ему книжку «Серебряные коньки» и сказал: «Почитал бы, Корнелий, чего маешься бездельем», Удалов понял, что единственное место на свете, где он может рассчитывать на человеческое участие, — это собственный дом. Но и дома мало шансов на прощение.

С книжкой в руке Удалов вышел во двор. Там стоял самовар, то есть машина господина Бакшта, и из-под нее торчали длинные ноги Саши Грубина, который проверял подвеску. Удалов подошел к ногам и подумал, что ботинки у Грубина старые, он их видел тысячу раз, а ноги новые. Как будто новый Грубин у старого отобрал ботинки.

— Саша, — позвал Удалов. — Поговорить надо.

Голос его был тонкий, не слушался, и Грубин из-под машины не сразу сообразил, кто его зовет. Но потом сообразил.

— Сейчас, — сказал он. — Погоди, Корнелий.

Корнелий встал на цыпочки и заглянул внутрь машины. На красном кожаном сиденье лежал открытый ящик с двумя старинными пистолетами. В Удалове вдруг проснулось желание бабахнуть из пистолета по всем врагам. Он потянулся к пистолету, размышляя, кто у него главный враг, но тут рука Грубина перехватила его пальцы.

— Нельзя тебе, — сказал старый друг Саша. — Мал еще.

— И ты, Брут?

— Шучу, — спохватился Грубин, хотя, в общем, и не шутил.

— Все ясно, — сказал Удалов и пошел прочь.

— Корнелий, ты куда? — крикнул Грубин. — Не делай глупостей!

— Я уже сделал главную глупость. Не бойся.

Его маленькая фигурка скрылась за воротами. Грубин хотел было побежать следом, остановить, может быть, утешить, но вспомнил, что машина еще не приведена в порядок, и остался.

А Удалов брел по улице, как старый человек, остановился перед небольшой лужей. Детское тело готово было перепрыгнуть через лужу, но умудренный долгой жизнью мозг отказал ему в этом. И Удалов осторожно обошел лужу. Грустные видения вставали перед его мысленным взором. Ему казалось, что он сидит за одной партой с сыном Максимкой и пытается списать из его тетрадки решение задачи, потому что сам давно забыл все правила математики, а сын закрывает тетрадку ладошкой и зло шепчет: «Надо было в свое время учиться». А учительница в образе Елены Сергеевны говорит: «Удалов-младший, выйди из класса и без отца не возвращайся». — «Нет у меня отца, — отвечает Корнелий. — Есть только супруга». И весь класс хохочет.

Нечто знакомое привлекло внимание Удалова. Оказывается, он проходил мимо здания бани, которое возводилось силами его конторы. Над возведением бани трудилась бригада Курзанова и работала с большим отставанием от графика. Удалов поднял голову, рассчитывая увидеть каменщиков, кладущих кирпичи второго этажа, но каменщиков не увидел. Это его встревожило. Обеденный перерыв еще не наступил. Следовало разобраться.

Удалов обогнул стройку и вошел во двор, засыпанный стройматериалами.

Он увидел, что вся бригада собралась вокруг большого ящика, на котором разложена газета. Бригадир Курзанов держит в руке карандаш, уткнув его в газету, и руководит разгадыванием кроссворда. Все остальные строители помогают советами.

Эта картина возмутила Удалова. Прижимая ручонками к груди книгу «Серебряные коньки», мальчик подошел к строителям и строго спросил:

— В чем дело, Курзанов? Почему бригада простаивает?

— А ведь перерыв, — не поднимая головы, ответил бригадир.

— Какой перерыв в одиннадцать тридцать? — рассердился Удалов.

Удивленный командирскими интонациями в детском голосе, бригадир поднял голову и увидел мальчика.

— Пошел отсюда, — сказал он добродушно. — Не мешай.

Удалов не сдавался. Он поднял руку вверх, как бы призывая к вниманию, и сказал так:

— Товарищи, неужели вы забыли, что мы с вами принимали повышенные обязательства? Вот ты, Курзанов, бригадир. Как ты посмотришь в глаза общественности, которая доверила тебе возведение очень нужного объекта? А ты, Тюрин? Сколько раз ты клялся на собраниях исправиться и прекратить прогулы? А ты, Вяткин, неужели приятно, что тебя склоняют ввиду твоей лени?

Реакция строителей была острой. Они даже отступили на несколько шагов перед мальчиком, который отчитывал их, размахивая детской книжкой. Особенно смущала информированность ребенка.

— Мальчик, ты чего? — спросил Курзанов.

— Что, не узнаешь своего начальника? — Удалов продолжал наступать на строителей. — Думаешь, если я сегодня плохо выгляжу, то, значит, можно лясы точить? Вы учтите, мое терпение лопнуло. Я принимаю меры!

Вот этих, последних слов Удалову, пожалуй, не следовало произносить. Уж очень они не соответствовали его внешнему виду. Кто-то из строителей засмеялся. За ним — другие. И дальнейшая речь Удалова утонула в хохоте. Хохот был добродушный, не злой.

— Иди, мальчик, — вымолвил наконец Курзанов. — Тебе в школу надо. А ты прогуливаешь.

И только тогда Удалов как бы взглянул на себя со стороны и понял, что никогда ему не доказать этим лентяям, что он их начальник. Но отступать было нельзя — стройка находилась под угрозой срыва. И когда строители, все еще посмеиваясь, вернулись к разгадыванию кроссворда, Удалов понял, что надо делать. Он решительно поднялся по лесам на второй этаж, нашел там ведро с раствором, мастерок и принялся сам класть кирпичи в стену.

Руки ему не повиновались, кирпичи казались тяжелыми, как будто были отлиты из свинца, трудно было набрать и донести до стены сколько нужно густого раствора. Но кирпич за кирпичом ложился на место — недаром в молодости Удалов поработал каменщиком.

Строители все это видели. Но сначала они лишь улыбались, хотя сноровка мальчика их удивляла.

Но прошло пять минут, десять. Пошатываясь от усталости, обливаясь слезами, мальчик продолжал класть кирпичи.

— Психованный какой-то, — проговорил наконец Тюрин.

— Что-то он мне знакомый, — сказал бригадир.

— А может, это удаловский сын? — спросил Вяткин. — Максимка?

— Похож, — согласился Тюрин. — Вот и про нас все знает.

— Может, пойдем поработаем? — предложил Вяткин.

— И вообще, сколько можно прохлаждаться? — разгневался бригадир Курзанов. — Мы же обязательства давали как-никак.

И он первым поднялся на леса, подхватил под локотки безнадежно уморившегося Удалова и отставил в сторону.

И через минуту уже кипела работа.

Все забыли о настырном мальчике.

Удалов подобрал книжку и потихоньку ушел.

Конечно, плохо быть мальчиком, но все же он победил целую бригаду и личным примером показал им путь. Главное — решительность. Она должна помочь и в разговоре с Ксенией.

## 32

Подобное же испытание в эти минуты выпало на долю Ванды Казимировны.

Она подошла к универмагу в тот момент, когда перед ним разгружали машину.

— Что привезли? — спросила она у шофера.

— Детскую обувь, — ответил шофер, любуясь крепконогой красивой девушкой в очень свободном платье. — А ты здесь работаешь, что ли?

— Работаю, — подтвердила девушка и направилась к главному входу.

Этого шофера Ванда знала, он приезжал в универмаг лет пять. И вот не узнал.

С каждым шагом настроение ее портилось. Магазин, такой родной и знакомый, куда более важный, чем дом, магазин, с которым связаны многие годы жизни, трагедии и достижения, опасности и праздники, именно ее трудом ставший лучшим универмагом в области, — этот магазин Ванду не замечал.

Она шла торговым залом, огибая очереди и останавливаясь у прилавков. Она знала каждого из продавцов, кто замужем, а кто одинок, кто честен, а кто требует надзора, кто работящ, а кто уклоняется от труда, у кого язва, а у кого ребенок на пятидневке. И все эти люди, что вчера еще радостно или боязливо раскланивались с Вандой, теперь скользили по ней равнодушными взглядами как по обыкновенной покупательнице. Магазин ее предал! Уходя от Елены, когда там шел разговор со Степановым, Ванда сказала мужу, что пойдет домой, соберется в дорогу. Савича она с собой звать не стала, а он и не напрашивался. Ему сладко и горько было оставаться рядом с Еленой. Ему казалось, что еще не все кончено, надо найти нужное слово и сказать его в нужный момент. Ванда же, стремясь скорее в универмаг, была убеждена, что ни нужного момента, ни нужного слова не будет. Так что уходила почти спокойно. Цель ее была проста — зайти к себе в кабинет, взять сберкнижку из сейфа, снять с нее деньги, чтобы в Москве не было недостатка. И если будет возможность, оформить отпуск за свой счет.

Сложность и даже безнадежность ее положения стали очевидными только в самом магазине. Когда оказалось, что ее не узнала ни одна живая душа. Это было более чем обидно. Именно в этот момент в голове Ванды Казимировны впервые прозвучала мысль, которая будет мучить ее в следующие часы: «И зачем мне нужна эта молодость? Жили без нее».

Вопрос об отпуске за свой счет уже не стоял. Оставалось одно: проникнуть в собственный кабинет и изъять сберегательную книжку.

Пришлось хитрить. Ванда смело зашла за прилавок галантерейного отдела, и, когда ее остановила Вера Пушкина, она сказала ей: «Я к Ванде Казимировне». Мимо склада и женского туалета Ванда поднялась в коридорчик, где были бухгалтерия и ее кабинет. К счастью, кабинет был пуст. И открыт.

Ванда быстро прошла в угол, за стол, вынула из сумочки ключи и в волнении — ведь не каждый день приходится тайком вскрывать свой собственный сейф — не сразу нашла нужный. И в тот момент, когда ключ послушно повернулся в замке, Ванда услышала рядом голос:

— Ты что здесь делаешь?

Испуганно обернувшись, Ванда увидела, что над ней нависает громоздкое тело Риммы Сарафановой — ее заместительницы.

— Сейф открыла, — глупо ответила Ванда.

— Вижу, что открыла, — сказала Римма, перекрывая телом пути отступления. — Давай сюда ключи.

— Ты что, не узнала? — спросила Ванда, беря себя в руки.

— Кого же я должна узнать?

— Так я же Ванда, Ванда Казимировна. Твоя директорша.

— Ты Иван Грозный, — добавила Римма. — И еще Бриджит Бардо.

— Ну как же! — в отчаянии сопротивлялась Ванда. — Платье мое?

— Твое.

— И туфли мои? — Римма посмотрела вниз.

— Вроде твои.

— Кольцо мое? — Она сунула под нос Римме руку.

Кольцо еле держалось на пальце.

— Кольцо ее, — сказала Римма. — Тебе велико.

— Я и есть Ванда. Глаза мои?

— Не скажу, — ответила Римма. — Я сейчас милицию вызову. Она и разберется, чьи глаза.

— Римма, девочка, я же все про тебя знаю. И про Васю. И где ты дачу строишь. Хочешь скажу, какие у тебя шторы в большой комнате?

— Ключи, — повторила железным голосом Римма.

Ванда была вынуждена сдать ключи. Но сама еще не сдалась.

— Омолаживалась я, — сказала она, чуть не плача. — Опыт такой был. И Никитушка мой омолодился. Со временем и тебе устроим.

Римма была в сомнении — уж очень ситуация была необычной. В самом деле, платье Вандино и глаза вроде бы Вандины, а в остальном авантюристка. Римма привыкла верить своим глазам, они ее еще никогда не обманывали. И хоть эта девушка напоминала Ванду, Вандой она не была.

Ванда в отчаянии подыскивала аргументы, хотела было показать паспорт, но сообразила, что паспорт будет козырем против нее. Там есть год рождения и фотокарточка, которая ничего общего с ней не имеет.

Тут ее осенила светлая мысль.

— Простите, Римма Ивановна. Я вас обманула.

— И без тебя знаю.

— Я племянница Ванды Казимировны. Я из Вологды приехала.

— А Ванда где?

— А Ванда болеет. Грипп у нее.

— Дома лежит? — спросила Римма и потянулась к телефонной трубке.

— Нет, — быстро сказала Ванда. — Тетя в поликлинику пошла.

— В какую?

— В третью.

— К какому доктору?

— Семичастной.

— В какой кабинет?

— В шестой.

— А откуда ты знаешь кабинет, если из Вологды приехала?

Ванда поняла, что терпение Риммы истощилось. Никакой надежды получить обратно ключи и сберкнижку нет. Оставалось одно — бежать.

— А вот и тетя! — закричала она, глядя поверх плеча Риммы.

Та непроизвольно оглянулась.

Ванда нырнула ей под руку и кинулась наружу. Кубарем слетела по служебной лестнице во двор. Выбежала двором в садик и спряталась за церковью Параскевы Пятницы. Только там отдышалась.

Все погибло. Даже домой опасно возвращаться. Римма может и милицию вызвать, сказав, что какая-то авантюристка обокрала Ванду Казимировну, сняла с нее кольцо и старалась вскрыть сейф. С Риммы станется. Хотя за что Римму винить? Она же Вандины интересы охраняет.

Ванда Казимировна стояла в кустах, где недавно Удалов напал на своего сына Максимку, и горько рыдала. Много лет так не рыдала.

— Господи, — повторяла она. — Зачем мне эта молодость? В свой кабинет зайти нельзя! Подчиненные не узнают...

Она еще долго стояла там, тщетно придумывая, как ей перехитрить Римму. Но ничего не придумала. И пошла дворами и переулками к Елене, потому что помнила — Савич оставлен там без присмотра.

## 33

Солнце клонилось к закату, тени стали длиннее, под кустом сирени собрались, как всегда, любители поиграть в домино.

Во двор вошел мальчик с книжкой «Серебряные коньки» в руке. Мальчик был печален и даже испуган. Он нерешительно остановился посреди двора и стал глядеть наверх, где были окна квартиры Удаловых.

В этот самый момент кто-то из играющих в домино спросил громко:

— Как там, Ксения? Не нашелся еще твой?

Из открытого окна на втором этаже женский голос произнес сурово и холодно:

— Пусть только попробует явиться! За все ответит. Его ко мне с милицией приведут. Лейтенант такой симпатичный, лично обещал.

— Ксения! Ксюша! — позвал Удалов, остановившись посреди двора.

Доминошники прервали стук. Из окна напротив женский голос помог Удалову:

— Ксения, тебя мальчонка спрашивает. Может, новости какие?

— Ксения! — рявкнул один из игроков. — Выгляни в окошко.

— Ксюша, — мягко сказал Удалов, увидев в окне родное лицо. — Я вернулся.

— Что тебе? — спросила Ксения взволнованно.

— Я вернулся, Ксения, — повторил Удалов. — Я к тебе совсем вернулся. Ты меня пустишь?

Доминошники засмеялись.

— Ты от Корнелия? — спросила Ксения.

— Я не от Корнелия, — сказал мальчик. — Я и есть Корнелий. Ты меня не узнаешь?

— Он! — закричал другой мальчишеский голос. Это высунувшийся в окно Максимка, сын Удалова, узнал утреннего грабителя. — Он меня раздел! Мама, зови милицию!

— Хулиганье! — возмутилась Ксения. — Сейчас я спущусь.

— Я не виноват, — сказал Корнелий и не смог удержать слез. — Меня помимо моей воли... Я свидетелей приведу...

— Смотри-ка, как на Максимку твоего похож, — удивился один из доминошников. — Как две капли воды.

— И правда, — подтвердила женщина с того конца двора.

— Я же муж твой, Корнелий! — плакал мальчик. — Я только в таком виде не по своей воле...

Корнелий двинулся было к дому, чтобы подняться по лестнице и принять наказание у своих дверей, но непочтительные возгласы сзади, смех из раскрытых окон — все это заставило задержаться. Мальчик взмолился:

— Вы не смейтесь... У меня драма. У меня сын старше меня самого. Это ничего, что я внешне изменился. Я с тобой, Ложкин, позавчера «козла» забивал. Ты еще три «рыбы» подряд сделал. Так ведь?

— Сделал, — сказал сосед. — А ты откуда знаешь?

— Как же мне не знать? Я же с тобой в паре играл. Против Васи и Каца. Его нет сегодня. Это все медицина... Надо мной опыт произвели, с моего, правда, согласия, и, может, даже очень нужный для науки, а у меня семья...

Ксения тем временем спустилась во двор. В руке она держала плетеную выбивалку для ковров. Максимка шел сзади с сачком.

— А ну-ка, — велела она, — подойди поближе.

Корнелий опустил голову, приподнял повыше узкие плечики. Подошел. Ксения схватила мальчишку за ворот рубашки, быстрым, привычным движением расстегнула лямки, спустила штанишки и, приподняв ребенка в воздух, звучно шлепнула его выбивалкой.

— Ой! — вскрикнул Корнелий.

— Погодила бы, — сказал Ложкин. — Может, и в самом деле наука!

— Он самый! — радовался Максимка. — Так его!..

Неожиданно рука Ксении, занесенная для следующего удара, замерла на полпути. Изумление ее было столь очевидно, что двор замер. На спине мальчика находилась большая, в форме человеческого сердца, коричневая родинка.

— Что это? — спросила Ксения тихо.

Корнелий попытался в висячем положении повернуть голову таким образом, чтобы увидеть собственную спину.

— Люди добрые, — сказала Ксения, — клянусь здоровьем моих деточек, у Корнелия на этом самом месте эта самая родинка находилась.

— Я и говорю, — раздался в мертвой тишине голос Ложкина, — прежде чем бить, надо проверить.

— Ксения, присмотрись, — сказала женщина с другой стороны двора. — Человек переживает. Он ведь у тебя невезучий.

Корнелий, переживавший позор и боль, обмяк на руках Ксении, заплакал горько и безутешно. Ксения подхватила его другой рукой, прижала к груди — почувствовала родное — и быстро пошла к дому.

## 34

Савич истомился. Он то выходил во двор, к Грубину, который возился с автомобилем, то возвращался в дом, где было много шумных людей, все разговаривали, и никому не было дела до Савича. Он вдруг понял, что двигается по дому и двору не случайно — старается оказаться там, где Елена может уединиться с Алмазом. Ее очевидная расположенность к Битому и его откровенные ухаживания все более наполняли Савича справедливым негодованием. Он видел, что Елена, ради которой он пошел на такую жертву, в самом деле не обращает на него никакого внимания, а старается общаться с бывшим стариком. И это когда он, Савич, почти готов ради нее разрушить свою семью.

Поэтому, когда Савич в своем круговращении в очередной раз подошел к комнате, где Елена собиралась в дорогу, он застал там Алмаза, обогнавшего его на две минуты. И, остановившись за приоткрытой дверью, услышал, как Алмаз говорит:

— Хочу сообщить тебе, Елена Сергеевна, важную новость. Не помешаю?

— Нет, — ответила Елена. — Я же не спешу.

— Триста лет я прожил на свете, — сказал бывший старик, — и все триста лет искал одну женщину, ту самую, которую полюблю с первого взгляда и навсегда.

— И нашли Милицу, — добавила Елена.

И хоть Савич не видал ее, он уловил в голосе след улыбки.

— Милица — моя старая приятельница. Она не в счет. Я о тебе говорю.

— Вы меня знаете несколько часов.

— Больше. Я уже вчера вечером все понял. Помнишь, как уговаривал тебя выпить зелья. Если бы дальше отказывалась, силком бы влил.

— Вы хотите сказать, что в пожилой женщине...

— Это и хотел сказать. И второе. Я тебя в Сибирь увезу. Если хочешь, и Ванечку возьмем.

— А что я там буду делать?

— Что хочешь. Детей учить. В музей пойдешь, в клуб — мало ли работы для молодой культурной девицы?

— Это шутка? — вдруг голос Елены дрогнул.

Савич весь подобрался, как тигр перед прыжком.

— Это правда, Елена, — сказал Алмаз.

В комнате произошло какое-то движение, шорох...

И Савич влетел в комнату.

Он увидел, что Елена стоит, прижавшись к Алмазу, почти пропав в его громадных руках. И даже не вырывается.

— Прекратите! — закричал Савич. И голос его сорвался. Он закашлялся.

Елена сняла с плеч руки Алмаза, тот обернулся удивленно.

— Никита, — удивилась Елена. — Что с тобой?

— Ты изменила! — сказал Никита. — Ты изменила нашим словам и клятвам. Тебе нет прощения.

— Клятвам сорокалетней давности? От которых ты сам отказался?

— Я ради тебя пошел на все! Буквально на все! Я не позволю этому случиться. Приезжает неизвестный авантюрист и тут же толкает тебя к сожительству.

— Ну зачем ты так, аптека, — сказал Алмаз. — Я замуж зову, а не к сожительству.

— Будьте вы прокляты! — с этим криком Савич выбежал из комнаты и кинулся во двор.

Он должен был что-то немедленно сделать. Убить этого негодяя, взорвать дом, может, даже покончить с собой. Весь стыд, вся растерянность прошедших часов слились в этой вспышке гнева.

— Ты что, Никита? — спросил Грубин, разводивший в машине пары. — Какая муха тебя укусила?

— Они! — Савич наконец-то отыскал человека, который его выслушает. — Они за моей спиной вступили в сговор!

— Кто вступил?

— Елена мне изменяет с Алмазом. Он зовет ее в Сибирь! Это выше моих сил.

— А ты что, с Еленой хотел в Сибирь ехать? — не понял Грубин.

— Я ради нее пошел на все! Чтобы исправить прошлое! Ты понимаешь?

— Ничего не понимаю, — сказал Грубин. — А как же Ванда Казимировна?

— Кто?

— Жена твоя, Ванда.

— А она тут при чем? — возмутился Савич.

Взгляд его упал на открытый ящик с пистолетами. И его осенила мысль.

— Только кровью, — сказал он тихо.

— Савич, успокойся, — велел Грубин. — Ты не волнуйся.

Но Савич уже достал из машины ящик и прижал его к груди.

— Нас рассудит пуля, — произнес он.

— Положи на место! — крикнул Грубин. В этот момент из дома вышел Алмаз. За ним — Елена. Неожиданное бегство Савича их встревожило. Никита увидел Алмаза и быстро пошел к нему, держа ящик с пистолетами на вытянутых руках.

— Один из нас должен погибнуть, — сообщил он Алмазу.

— Стреляться, что ли, вздумал? — спросил Алмаз.

— Вот именно.

— Не сходи с ума, Никита, — сказала Елена учительским голосом.

— Ой, как интересно! — как назло, во двор выбежали Милица с Шурочкой. — Настоящая дуэль. Господа, я буду вашим секундантом.

Милица подбежала к Савичу, вынула один из пистолетов и протянула его Алмазу.

— Они же убьют друг друга! — испугалась Шурочка.

— Не бойся, — засмеялась Милица, — пистолетам по сто лет. Они не заряжены.

— Ну что, трепещешь? — спросил Савич.

— Чего трепетать. — Алмаз взял пистолет. — Если хочешь в игрушки играть, я не возражаю. Давненько я на дуэли не дрался.

— Вы дрались на дуэли? — спросила Елена.

— Из-за женщины — в первый раз.

Милица развела дуэлянтов в концы двора и вынула белый платочек.

— Когда я махну, стреляйте, — распорядилась она.

— Это глупо, — сказала Елена Алмазу. — Это мальчишество.

— Он не отвяжется, — ответил Алмаз тихо.

Савич сжимал округлую, хищную рукоять пистолета.

Все было кончено. Черная речка, снег, секунданты в черных плащах...

— Ну, господа, господа, не отвлекайтесь, — потребовала Милица и махнула платком.

Алмаз поднял руку и нажал курок, держа пистолет дулом к небу — не хотел рисковать. Курок сухо щелкнул.

— Ну вот, что я говорила! — воскликнула Милица. — Никто не пострадал.

— Мой выстрел, — напряженно произнес Савич. Он целился, и рука его мелко дрожала. Нажать на курок было трудно, курок не поддавался.

Наконец Савич справился с упрямым курком. Тот поддался под пальцем, и раздался оглушительный выстрел. Пистолет дернулся в руке так, словно хотел вырваться. И серый дым на мгновение закрыл от Савича его врага.

И Савичу стало плохо. Весь мир закружился перед его глазами.

Поехал в сторону дом, трава медленно двинулась навстречу... Савич упал во весь рост. Пистолет отлетел на несколько шагов в сторону.

Алмаз стоял, как прежде, не скрывая удивления.

— Надо же, — удивился он. — Сто лет пуля пролежала...

Елена кинулась к нему.

— Антон Павлович Чехов говорил мне, — сказала Милица, вытирая лоб белым платочком, — что если в первом действии на стене висит ружье...

Но договорить она не успела, потому что во двор вбежала Ванда и, увидев, что Савич лежит на земле, быстрее всех успела к нему, подняла его голову, положила себе на колени и принялась баюкать мужа, как маленького, повторяя:

— Что же они с тобой сделали? Мы их накажем, мы на них управу найдем...

Савич открыл глаза. Ему было стыдно. Он сказал:

— Я не хотел, Вандочка.

— Я знаю, лежи...

И тут появилась еще одна пара. Ксения тяжело вошла в ворота, неся на руках Корнелия Удалова.

— Что же это получается? — спросила она. — Где это видано?

Удалов тихо хныкал.

— Помирились? — спросил Грубин.

— По детям стреляют. Куда это годится? — сказала Ксения. — Глядите. Отсюда пуля прилетела. Штаны разорваны. На теле ранение.

Все сбежались к Удалову. Штаны в самом деле были разорваны, и на теле был небольшой синяк.

Ксения поставила Удалова на траву и принялась всем показывать круглую пулю, которая ударилась в Удалова на излете.

— Ну и невезучий ты у нас, — произнес Грубин. Удалов отошел в сторону, а Ксения, отбросив пулю, вспомнила, зачем пришла.

— Кто у вас главный? — спросила она.

— Можно считать меня главным, — сказал Алмаз.

— Так вот, гражданин, — заявила Ксения. — Берите нас в Москву. Чтобы от молодости вылечили. Была я замужней женщиной, а вы меня сделали матерью-одиночкой с двумя детьми. С этим надо кончать.

## 35

Шурочка и Стендаль проводили машину до ворот. Они бы поехали дальше, но машина была так перегружена, что Грубин боялся, она не доедет до станции. И без того, помимо помолодевших, в ней поместились два новичка — Ксения и Степан Степанович, люди крупные, грузные.

Грубин вел автомобиль осторожно, медленно, так что мальчишки, которые бежали рядом, смогли сопровождать его до самой окраины. Люди на улицах смотрели на машину с улыбками, считали, что снимается кино, и даже узнавали в своих бывших горожанах известных киноартистов. Машину увидел из своего окна и редактор Малюжкин. Он узнал среди пассажиров Милицу и Степанова, открыл окно и крикнул Степанову, чтобы тот возвращался на работу.

— Считайте меня в командировке, — ответил Степанов.

Малюжкин обиделся на сотрудника и захлопнул окно. Его никто не понимал.

Уже начало темнеть, когда машина въехала в лес. Разговаривали мало, все устали и не выспались. Удалов задремал на коленях у жены.

Легкий туман поднялся с земли и светлыми полосами переползал дорогу. Фары в машине оказались слабыми, они не могли пронзить туман и лишь высвечивали на нем золотистые пятна. Уютно пыхтел паровой котел, и дым из трубы тянулся за машиной, смешиваясь с туманом.

Лес был тих и загадочен. Даже птицы молчали. И вдруг сверху, из-за вершин елей, на землю опустился зеленый луч. Он был ярок и тревожен. В том месте, где он ушел в туман, возникло зеленое сияние.

— Стой, — сказал Алмаз.

Грубин затормозил.

— Чего встали? — спросила Ванда. — Уже сломалась?

Но тут и она увидела зеленое сияние и осеклась.

В центре сияния материализовалось нечто темное, продолговатое, словно веретено. Веретено крутилось, замедляя вращение, пока не превратилось в существо, схожее с человеком, хрупкое, тонкое, одетое в неземную одежду.

Существо подняло руку, как бы призывая к молчанию, и начало говорить, причем не видно было, чтобы у существа шевелились губы. Тем не менее каждое его слово явственно доносилось до всех пассажиров автомобиля.

— Алмаз, ты узнаешь меня? — спросило существо.

— Здравствуй, пришелец, — сказал Алмаз. — Вот мы и встретились.

— Я бы не хотел с тобой встречаться, — ответил пришелец.

Ксения привстала на сиденье и, не выпуская из рук Удалова, обратилась к пришельцу:

— Мужчина, отойдите с дороги. Мы спешим, нам вот в Москву надо, от молодости лечиться.

— Знаю, — сказал пришелец. — Молчи, женщина.

И в голосе его была такая власть, что даже Ксения, которая мало кому подчинялась, замолчала.

— Ты нарушил соглашение, — произнес пришелец, обращаясь к Алмазу. — Ты помнишь условие?

— Помню. Я хотел жить. И пожалел этих людей. Они были немолоды, и им грозила смерть.

— Когда ты поделился средством с Милицей, — сказал пришелец, — я не стал принимать мер. Но сегодня ты открыл тайну многим. И вынудил меня отнять у тебя дар.

— Я понимаю. Но прошу тебя о милости. Погляди на Милицу, она молода и прекрасна. И если ты лишишь ее молодости, она завтра умрет. Погляди на Елену — мы с ней хотели счастья. Погляди на Грубина, он же может стать ученым...

— Хватит, — прервал его пришелец. — Ты зря стараешься вызвать во мне жалость. Я справедлив. Я дал тебе дар, чтобы ты пользовался им один. Земле еще рано знать о бессмертии. Земля еще не готова к этому. Люди сами должны дойти до такого открытия.

— Не о себе прошу... — начал было Алмаз, вылезая из машины и делая шаг к пришельцу.

Но тот не слушал. Он развел в стороны руки, в которых заблестели какие-то шарики, и от них во все стороны побежали молниевые дорожки. В воздухе запахло грозой, и зеленый туман, заклубившись, поднявшись до вершин деревьев, окутал машину и Алмаза, замершего перед ней.

Грубин, уже догадавшись, что произошло, успел лишь поднять глаза к Милице, что стояла за его спиной, и встретить ее ясный взгляд, полный смертельной тоски. И протянул к ней руку. А Алмаз, который хотел в этот последний момент быть рядом с Еленой, сделать этого не успел, потому что странная слабость овладела им и заставила опуститься на землю.

Было очень тихо.

Зеленый туман смешался с белым и уполз в лес. Постепенно в сумерках голубым саркофагом вновь образовался автомобиль, и в нем, склонившись друг к другу, сидели и лежали бесчувственные люди.

— Как грустно быть справедливым, — произнес пришелец на своем языке, подходя к машине.

Он увидел толстую пожилую женщину, Ксению Удалову, которая держала на коленях курносого полного мужчину ее лет. Он вгляделся во властное и резкое лицо другой немолодой женщины, Ванды Казимировны, которая даже в беспамятстве крепко обнимала лысого рыхлого Савича... Степан Степаныч, разумеется, не изменился.

Он сидел на заднем сиденье, закрыв глаза и прижимая к груди бесценный альбом с автографом Пушкина.

И вдруг пришелец ахнул.

Он протер глаза. Он им не поверил.

За рулем машины сидел, положив на него голову, курчавый юноша Саша Грубин. И, протянув к нему тонкую руку, легко дышала прекрасная персидская княжна.

Взгляд пришельца метнулся дальше.

Елена Сергеевна была так же молода, как десять минут назад.

— Этого не может быть, — произнес пришелец. — Это невозможно.

— Возможно, — ответил Алмаз, который первым пришел в себя и подошел сзади. Он тоже был молод и уже весел. — Есть, видать, вещи, которые не поддаются твоей инопланетной науке.

— Но почему? Как?

— Могу предположить, — сказал Алмаз. — Бывают люди, которым молодость не нужна. Ни к чему она им, они уже с юных лет внутри состарились. И нечего им со второй молодостью делать. А другие... другие всегда молоды, сколько бы лет ни прожили.

Люди в машине приходили в себя, открывали глаза. Первым опомнился Удалов. Он сразу увидал, что его детский костюмчик разорвался на животе в момент возвращения в прежний облик. Он провел рукой по толстым щекам, лысине и затем громко поцеловал в щеку свою жену.

— Вставай, Ксюша! — воскликнул он. — Обошлось!

Эти слова разбудили Савичей.

Ванда принялась радостно гладить Никиту, а тот глядел на жену и думал: «Как дурной сон, буквально дурной сон».

— Ничего, Саша, — проговорил Удалов, протягивая руку, чтобы утешить Грубина. — Обойдемся и без этих инопланетных штучек.

Очнувшийся Грубин, смертельно подавленный разочарованием, обернулся к Удалову, и тот, увидев перед собой юное лицо старого друга, вдруг закричал:

— Ты что, Грубин, с ума сошел?

Но Грубин на него не смотрел, он искал глазами Милицу, боясь ее найти. И нашел...

А Милица, встретив восторженный взгляд Грубина, поглядела на свои руки и, когда поняла, что они молоды и нежны, закрыла ими лицо и зарыдала от счастья.

— Вылезай, Елена, — сказал Алмаз, помогая Елене выйти из машины. — Хочу познакомить тебя со старым другом. Помнишь, я тебе рассказывал, как мы из тюрьмы бежали?

— Очень приятно, — сказал пришелец, который все еще не мог пережить своего поражения. — Я думаю, вы собираетесь создать семью?

— Не знаю.

Елена посмотрела на Алмаза, а тот произнес уверенно:

— В ближайшие дни.

И тут они услышали возмущенный крик Савича:

— Что же получается? Все остались молодыми, а я должен стать старым. Это несправедливо! Я всю жизнь хотел стать молодым! Я имею такое же право на молодость, как и остальные.

— Пойдем, мой зайчик, пойдем, — повторяла Ванда, стараясь увести его прочь. — Это у тебя нервное, это пройдет.

— Пошли, соседи, — предложил Удалов. — А то дотемна в город не успеем вернуться.

— Елена, — рыдал Савич, — все эти годы я тебя безответно любил!

— Ты мне только попробуй при живой жене! — Ванда сильно дернула его за руку, и Савич был вынужден отойти от машины.

— Извините, — сказал пришелец. — Я полетел.

— До встречи, — попрощался Алмаз.

Пришелец превратился в зеленое сияние, потом в луч. И исчез.

Елена посмотрела вслед уходящим к городу. Савич все оглядывался, норовил вернуться. Удаловы шли спокойно, обнявшись.

— Ну что ж, — сказал Алмаз, — по местам! А то к поезду не успеем.